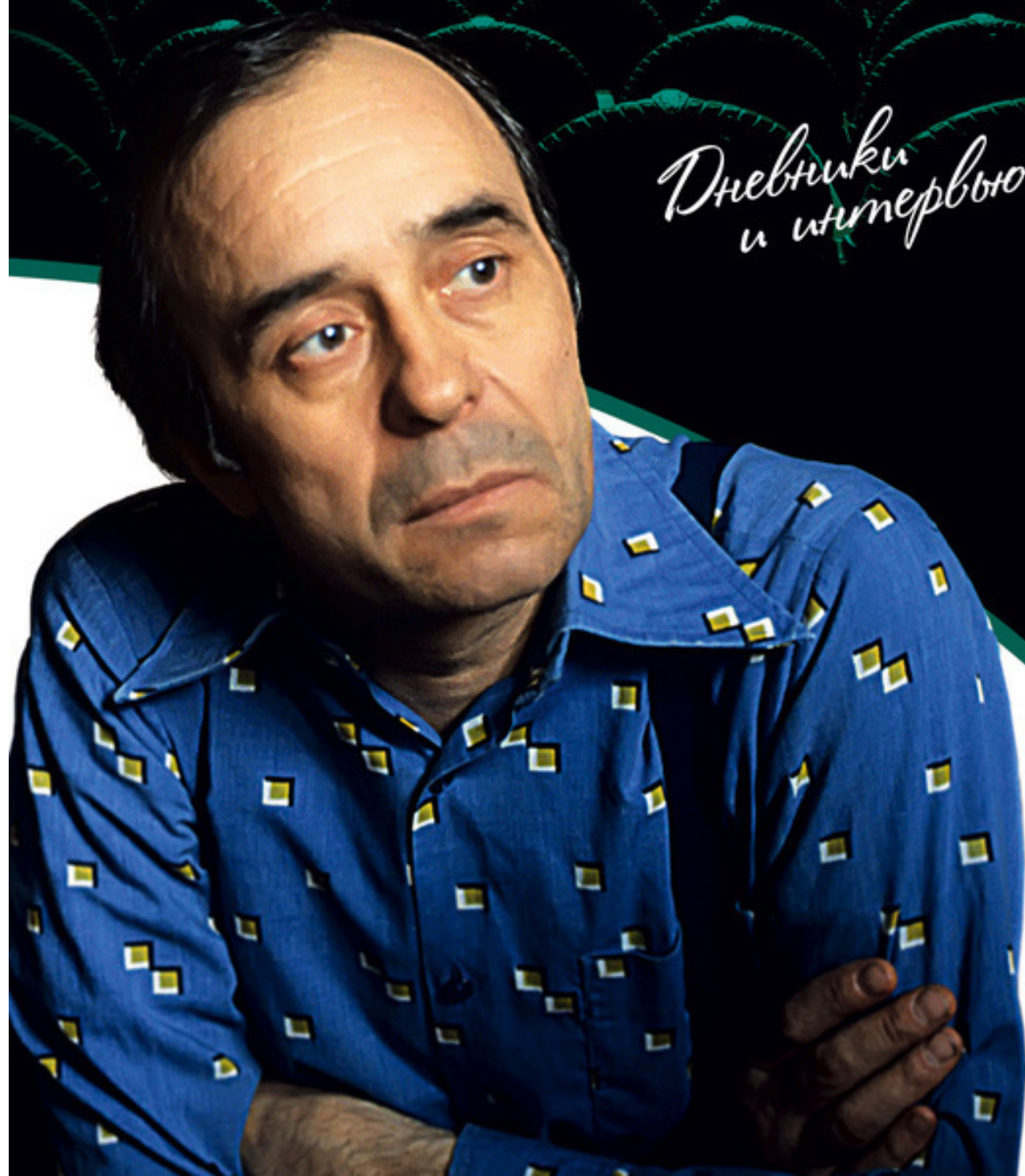


ОЛЕГ БОРИСОВ

*Абсолютный
ноль*

*Дневники
и интервью*



Роман с театром

Олег Борисов

**Абсолютный ноль.
Дневники и интервью**

«ЭКСМО»

2017

УДК 792.2:929(47) Борисов О.
ББК 85.334.3(2)6-8 Борисов О.

Борисов О. И.

Абсолютный ноль. Дневники и интервью / О. И. Борисов —
«Эксмо», 2017 — (Роман с театром)

ISBN 978-5-699-96283-9

«Не посылайте никому воздушных поцелуев, не прижимайте руку к сердцу и не падайте на колено, как будто клянетесь. Не интонируйте, не пойте текст, в стихах ломайте ритм. Не жестикулируйте излишне, например, не бейте себя в грудь, не заламывайте руки, не разводите руками... Ваша задача – чтобы не осталось ничего! Когда вы доведете себя до абсолютного нуля... каждый жест, который вы придумаете, каждый дерг жеста должен быть точным, должен быть вашим собственным». Это поучение великого Олега Борисова студенту-театралу вполне можно применять и в жизни. Сам актер тоже жил по этому принципу – честно, открыто, ответственно и с умом. В этой откровенной книге содержатся уникальные дневниковые записи известного артиста в период с 1974 по 1994 год (последняя была сделана за две недели до его кончины), а также его редкие, немногочисленные интервью. Вам выпадает уникальная возможность узнать Олега Борисова с его собственных слов – не только как потрясающего актера и вдумчивого театрального теоретика, но и как настоящего человека, прожившего интересную, полную драматизма жизнь.

УДК 792.2:929(47) Борисов О.
ББК 85.334.3(2)6-8 Борисов О.

ISBN 978-5-699-96283-9

© Борисов О. И., 2017

© Эксмо, 2017

Содержание

Предисловие	7
Часть первая	10
Дневник	10
Ленинград	11
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Олег Иванович Борисов

Абсолютный ноль: дневники и интервью

© Борисова А., 2017

© Редактор-составитель В.Л. Краснопольский, 2017

© Издание, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2017

* * *

Предисловие

Все началось в тот день, когда мне исполнилось пять. Это был наш первый серьезный разговор.

Отец зашел ко мне в детскую, взял за руку и подвел к книжному шкафу, который располагался в гостиной («Шкафик мой родной!..» – как говорила Любовь Андреевна Раневская). Я запомнил, что с полки был снят томик Гоголя:

«Это Николай Васильевич. Самое первое собрание в нашей библиотеке... Вот тебе талон на новое собрание – Чехова. Вот деньги, поди и выкупи первый том».

Все мы тогда – папа, мама и я – жили в Киеве. На первом этаже дома по бульвару Шевченко, 10, в котором находилась наша квартира, был магазин подписных изданий. Окрыленный полученным заданием, я начал «собирать библиотеку».

К тому времени в книжном шкафу уже стоял зеленоватый Лесков петрозаводского издательства, восьмитомники Шекспира и Станиславского, синий Томас Манн и – без особой надобности – Майн Рид и Рабиндранат Тагор. Библиотека постепенно росла, и мне запомнился разговор, когда я принес последний, десятый том из собрания Достоевского: «Самая удивительная в мире профессия – писать книжки! В особенности такие, как эта, – и отец со значением постучал пальцем по «Федору Михайловичу». – Но я уже никогда ничего не напишу, потому что напрочь лишен этого дара».

Разговор о писательстве был продолжен значительно позже – уже в 78-м. Тогда я впервые узнал, что отец ведет дневники. Он показал свои наброски к «Трагическому артисту» и попросил записать Пятой симфонии Шостаковича в исполнении Е.А. Мравинского. Пока я разбирался в непростом его почерке, отец внимательно слушал поскрипывающую пластинку: «Кажется, в своих ассоциациях я не ошибся. Вот опять эта девочка-чертик из феллиниевского фильма... Главное, чтобы никто никогда не прочитал этих записей! В особенности Мравинский!..» На чтении других рукописей я не настаивал, а он долгое время не предлагал – я только иногда подглядывал за тем, как он склонялся над толстым ежедневником.

Необходимость в консультациях у него периодически возникала. И тогда из его комнаты раздавалось: «Напомни, пожалуйста, этот «исполинский сапог» – это когда он писал о пианисте Гаврилове. Или вдруг: «Что это за цитата? Выписал и не могу вспомнить: «Мы на земле недолго, мы делаем много дел дурных и говорим слов дурных». Кажется, из «Карамазовых». А вдруг не из «Карамазовых»?»

Итак, первые записи появились в 74-м. А последняя – в 94-м, за две недели до его ухода. Охвачен период в двадцать лет. Хотя на самом деле в этих дневниках вся его жизнь: и детство, и учеба в Школе-студии, которые даны ретроспективно.

Ко многим этюдам – он их чаще всего так называл – возвращался по несколько раз. Наиболее плодотворными были 90—93-е годы, когда переделывалось или дописывалось то, что было начато раньше. Некоторые записи появились в книге А. Караулова «Олег Борисов». Однако они не удовлетворяли отца, и он с большим азартом принялся за переделки. Много времени проводил со Словарем Даля, а однажды стал подумывать и о названии для всей книги. Остановился на таком: «Без знаков препинания».

«Во-первых, это одна из составляющих моей маленькой системы, – объяснял он. – Во-вторых, знаки препинания должны что-то с чем-то соединять. Я же не хочу (и не могу) написать такую книгу, чтобы одно вытекало из другого. Как только я поставлю последнюю точку, начнутся обиды: ты обо мне не написал, обо мне... Или написал, но не то. Или начнутся вопросы: почему тут не закончено, а что следует за этим? А за этим ничего не следует! Это же субъективно! Сегодня от вдохновения распирает, завтра его не дождешься. Или вообще по телевизору футбол. Поэтому я ни о чем не задумываюсь, пишу как пишется. Един-

ственная тема, в которой у меня были черновики, – это вы: моя семья. И вся моя живность: Машка, Ванька и Кешка. Тут я не один лист помарал».

Во всех записях – постоянное обращение к четырем источникам его вдохновений: А.С., Н.В., Ф.М. и А.П. – Пушкину, Гоголю, Достоевскому и Чехову. Их он обожествлял и мечтал о встречах с ними на сцене, однако встречи получались нечастые. Особая близость с Ф.М. Он мог подолгу вчитываться в его текст, сверять сценарный вариант с первоисточником и в результате обнаружить: «Тут у него пунктиром выписано, а в сценарии про пунктир забыли. Только негоже так говорить: «Тут у него...» Надо было сказать: «*Тут у Федора Михайловича...*» Как про самого близкого человека.

Это – его семья. Но есть еще две портретные галереи, как он их называл. Они часто между собой стыкуются. Первая – сыгранные роли («Посмотри, ведь они же все не похожи!»). Вторая – люди, с которыми встречался в искусстве и в жизни. Им и посвящены многие из записей. Тут и «крестный отец» В.П. Некрасов; учителя и кумиры – Добронравов, Романов, Вершилов, княгиня Волконская; любимые партнеры: Вертинская, Гурченко, Тенякова, Шестакова, Крючкова, Копелян, Луспекаев, Данилов; тут и наброски к портретам музыкантов: Мравинского, Юдиной, Гаврилова. Он замечательно показывал чтение Юдиной на концертной эстраде – ее мечущуюся фигуру, растрепанные волосы, трудности с произношением (у Юдиной не хватало зубов). Как потом, перекрестившись, она набрасывалась на клавиатуру: «В этом было что-то сумасбродное, юродивое... и гениальное!»

Вообще, из его рассказов, которыми обычно сопровождалось застолье, получились многие этюды. Например, о том, как Романов забыл текст, или про Поплавка, или про то, как Некрасов покупал в гастрономе сыр.

Возможно, следует объяснить возникновение этюда про Микеланджело. В нем смешались впечатления от встречи с одним русским в Риме и от чтения книги Мережковского «Воскресшие боги». Этот автор тогда читался весь, «попряд, не торопясь». Была и другая причина. Отец хотел сделать на эстраде пушкинского «Моцарта и Сальери». Однако, когда доходил до последних строк «А Бонаротти? или это сказка...», всегда эту затею откладывал: «Пока я не пойму, отчего Сальери наговаривает на Микеланджело, не буду это читать. Надо тогда публике как-то объяснять, что Микеланджело хотел естественнее представить умирающего Спасителя и якобы для этого убил человека».

Этюды получались и из набросков к лекциям, с которыми он собирался выйти к студентам. (К сожалению, эти лекции так и не состоялись.) Одна из них должна была называться «О природе трагического» и во многом состояла из главков, которые вы найдете в этой книге: «Без точек» и «Отчего потрескивает свеча».

Как-то он обронил: «Когда меня не станет, не спеши это опубликовать. Пройдет энное количество лет, и ты увидишь, что устарело, – тогда с легкостью от этого избавляйся. А главное, помни: это должно быть интересно молодым актерам. В этом единственный смысл того, о чем я писал».

«Только кому это – молодым?» – спрашивает в одной из последних записей. «Хотел бы в новой работе встретиться с Олегом Меньшиковым. Кажется, мы с ним в один день родились – стало быть, оба – Скорпионы, и имя одно...» А в начале 94-го предугадал появление звезды Евгения Миронова. Когда мы вместе смотрели фильм с его участием, он говорил: «Вот видишь, режиссер как будто стыдится крупного плана. А хочется, чтобы камера тут не дергалась. Это хороший признак: когда просится крупный план. По тому, насколько долго артист его выдерживает, можно судить о его способностях. Вспомни последний план Берта Ланкастера в «Семейном портрете». Какой прощальный взгляд перед тем, как нырнуть в вечность!..»

Однажды, уже находясь в больнице, отец напомнил, как в подражание пушкинскому Адриану Прохорову хотел всех своих героев пригласить на обед. Тут у него так и написано: «Хорошая была бы толкучка... Человек сто на еду бы набросилось».

Теперь эти герои с нами: и сыгранные, и несыгранные. И на экране, и в этой книге. Только негоже так говорить: «Тут у него...» Надо было сказать: «*Тут у Олега Ивановича...*» Как про самого близкого человека.

*Юрий Борисов*¹

¹ Юрий Альбертович Борисов (1956–2007) – режиссер, окончил отделение музыкальной режиссуры Ленинградской консерватории в 1980 г. и с этого времени работал в труппе Камерного музыкального театра под руководством Б.А. Покровского. С 1989 г. работал в «Антрепризе Олега Борисова», где поставил «Пиковую даму» по А. Пушкину и «Человека в футляре» по А. Чехову. Снял кинофильм «Мне скучно, бес» с О. Борисовым в главных ролях; телевизионные фильмы «Лебединая песня», «Пришельцам новым» (по дневникам отца), «Репетиция Пушкина» (с Евг. Мироновым), «Шаги на снегу» и др. Издал книги: «Без знаков препинания. Дневник Олега Борисова», «Иное измерение» (составление и редакция), «По направлению к Рихтеру».

Часть первая

Абсолютный ноль. Из дневников

Дневник 1974–1994

Перечел свой отрывочек об Алле, моей Бавкиде, любимом Скорпионе. И подумал: если эти этюды, записи соберутся во что-нибудь стройное, то Алле я их и посвящу.

Ленинград

1974 год

Январь, 8—10

По наказу Платоныча

Я захожу в скрипучий допотопный лифт с узкой кабинкой на двоих, который должен поднять меня на четвертый этаж. Шахта обнесена клетью, двери в шахту тяжелые, затворить их плавно еще никому не удавалось. Нужно ударить ими так, как бьют по темени обухом. Чтобы другая, свободная рука придерживала еще двери самой кабинки. В противном случае они могут набить тебе шишку – так уж они устроены. Каждый удар металлической двери (а сделать их нужно два-три, чтобы лифт пошел) разносится по всему дому. Лифт работает с тяжелой одышкой – как инфарктник. Находясь дома, ты можешь легко высчитать, какой этаж он проходит, на каком остановился. В работе его шестеренок есть своя мелодия – нужно только вслушаться! Так, когда он проходит третий этаж, мне всегда слышится кварта и еще одна писклявая нотка: «Широка стра...» – и всё! Снова лязг.

Застревает лифт часто. В этом случае пассажир должен стучать по металлической клетки кулаками, и тогда ему на помощь придут все находящиеся в доме жильцы – взаимовыручка налажена, так как следующим в шахте можешь оказаться ты. Я не знаю, когда был изобретен первый лифт, но мне кажется, что его установили именно в нашем подъезде.

Было дело, я в нем тоже «сидел». В доме – никого, и несколько часов пришлось ждать, пока придет монтер (в лифте есть специальная кнопка, чтобы его вызывать). Меня охватило такое же отчаяние, как и любовника Жанны Моро в фильме «Лифт на эшафот». Замечательный фильм! Но там хоть маячила эта красotka, была какая-то романтика, а тут исписанные гвоздем стены и... тоска!

Сегодня я легко отделался. Только начав подъем, кабинка остановилась между первым и вторым этажами. Я без труда выломал дверь и элегантно выпрыгнул из шахты.

Дом у нас старый и улица старая. Мы живем здесь уже десять лет. Улица раньше называлась Кабинетная, и это название, хоть и непонятное, очень ей шло. Впрочем, я знаю, что на ней селились работные люди Кабинета Его императорского величества. Они ведали имуществом Двора. Теперь название другое – Правды; рядом Социалистическая улица, и на этой улице – пролетарская типография. Стало быть, и правда – не в том понимании, что «небеса возвещают Правду Его».

Еще из достопримечательностей: прямо напротив наших окон – бывший молельный дом с голубой восточной вязью и странным несмываемым отпечатком креста на красном кирпиче. Его много раз хотели смыть – безуспешно! Теперь там Институт киноинженеров. Все-таки главное, что это район Кузнечного рынка. Пяти углов, а значит, район Достоевского.

Мне от дома до театра десять минут ходу. Театр стоит на Фонтанке, и где-то на Фонтанке Голядкин¹ впервые увидел двойника. Я тоже оборачиваюсь, вглядываюсь. Недалеко и Обуховская больница, где когда-то в семнадцатом нумере сидел Германн. А рядом и Сенная площадь – хотя и на почтительном уже расстоянии от Кабинетной. Но все равно кажется, что Раскольников и здесь шел с топориком. Я иду до театра либо по Звенигородской и Бородинской, либо через Загородный по Лештукову, но желание иметь при себе топорик и у меня появляется. Все к этому располагает. Двери большинства из квартир в моей парадной отворя-

ются на крошечную щелочку – точь-в-точь как и у Алены Ивановны, процентщицы. Правда, нам от старых хозяев достался тяжеловесный засов – закрывается основательно.

В парадной – тусклость. Лампочки зажигаются не на всех этажах. На нашем – две квартиры. Напротив, в коммунальной, жил А.А. Музиль, режиссер Александрийского театра. Пока он не съехал, мы лампочки вкручивали по очереди. Но все равно – тускло! Стоят мусорные бачки, в которые скидываются отходы. Они, наверное, предназначены свиньям или как-то перерабатываются. Но бачки убираются только раз в неделю, поэтому арбузные корки, очистки из-под картофеля прилипают к каблукам. На нижнем этаже одна блокадница с лающим кашлем очень уж сильно грохочет крышкой бачка. У меня иногда сдают нервы, и я выскакиваю на лестницу, чтобы сказать ей что-нибудь дерзкое, например: нельзя ли потише? Оказывается, она все равно не слышит, она глухая и так и продолжает грохотать, а я снова выскакиваю.

Город холодный. Алкоголики испражняются больше в парадных, нежели в кустах на улице. В этом смысле наша парадная от других в Ленинграде не отличается. Со стен краска послезала, в некоторых местах вылез грибок, почтовые деревянные ящики жгут пионеры. Внизу, на первом этаже, расположился кинотехникум, поэтому на переменах студентками все задымляется... Это тебя угнетает, ты вспоминаешь, как Достоевский в записной книжке после слов «Люблю тебя, Петра творенье» прибавляет: «Виноват, не люблю его».

Все-таки однажды замечаешь, что лестница выложена из мрамора благородной породы – выщербленная, стертая, но, идя по ней, ты вслушиваешься в свой собственный шаг. А шаг-то становится аристократическим! Рядом решетка с чугунными веночками, и, скорее всего, ее касались ручки старенькой фрейлины. По этой лестнице надо подняться на четвертый этаж. Прямо у лифта – квартира № 8.

Квартира эта досталась по обмену. За киевскую двухкомнатную, на бульваре Шевченко, давали в Автово аж четыре комнаты. Но – в Автово. А здесь, на Правде, близко к театру, одна комната – просто зала, 33 метра. Лепнина на потолке, высоченные оконница с медными затворами, на дверях – медные ручки. Пол инкрустирован тремя породами дерева, мы его циклевали вручную. А чего стоит один потолок у Юры – мореного дуба, с четырьмя мордочками по углам! Когда мы захотели его реставрировать, обнаружили на нем... миллионы клопов. Они размножились и жили там со времен графа Юсупова, камердинер которого и поселился когда-то в этой фатерке. Большая зала и красивый паркет ему нужны были, чтобы тренировать кадрили. В то время это был самый модный танец. Говорят, у него был и белый рояль, на котором всю популярную музыку его времени – даже похоронные марши! – он переделывал на кадрили. Специалисты, которых вызвала Алла², определили, что потолок спасти не удастся. Нам нужно было с ним расстаться. Он был сбит и выброшен на помойку. «Клопус нормалис» (у Маяковского так называется это непобедимое насекомое) стал беспощадно вытраиваться Аллой – ведь в Ленинграде в таких домах их водятся тучи.

Особая тема – это стены. Мы отцарапали слои десять газет и обоев («обойки» – киевское слово). Иногда делали паузы, чтобы почитать «Ведомости». Больше всего в них обнаружили про гадалок и спиритов. Печаталась с сокращениями и Новейшая гадательная книга – не та ли, из которой у Пушкина эпиграф к «Пиковой даме»? Обои в основном желтенькие – в полоску, в разводы. Создалось впечатление, будто это основной тон петербургских стен. Поэтому, когда мы покрыли одну из комнат масляной краской – да еще не желтенькой, а темно-бордовой, – многие это приняли за моветон.

Я думаю, наши стены хорошо запомнили паломничество артистов БДТ. Это случилось на мое сорокалетие, 8 ноября 1969 года. И пришло человек сорок – наша зала позволяла принять столько. Все знали, что будет *сам...* Товстоногов пришел в вызывающем модном пиджаке в клетку. Как футурист. Только ему свойственным сопением подчеркивал важность происходящего. Настала очередь Аллы удивлять гостей. На столах стали появляться блюда

грузинской и французской кухни. Лобио и сациви были оценены по достоинству Г.А.³ и его семейством. В ответ они пообещали приготовить что-то грузинское и пригласить. Где-то уже в третьем часу Алла подала на стол судака-орли и жульены, от чего даже я пришел в удивление. Кузнецов⁴ попросил рецепты. По городу поползли слухи, что Борисовы, оказывается, не деревня.

Стены помнят, как приходил Луспекаев. Могучий, сам как стена, его медвежьи ноги были уже подкошены болезнью. Несколько чашек кофе почти залпом. Спрашивает: «Знаешь, какую загадку задал Сфинкс царю Эдипу?» Я, конечно, не знаю, молчу. «Что утром на четырех ногах, днем на двух, вечером на трех?» Сам и отвечает: «Это Луспекаев, понятно? Когда я был маленьким, ходил на четвереньках. Как и ты. Когда молодым и здоровым – на двух. А грозит мне палка или костыль – это будет моя третья нога. Почему Сфинкс спросил об этом Эдипа, а не меня? Я тут недавно шел мимо них, мимо тех сфинксов, что у Адмиралтейства, а они как воды в рот набрали». (По-моему, у Адмиралтейства все-таки львы, а не сфинксы.) Потом попросил Юру принести пятерчатку – заболели ноги. Он полпачки одним махом заглотнул, не запивая и даже не поморщившись.

Приходил Платоныч⁵. Приходил прощаться. Грустный, как всегда, во#рот распахнут. Выпили за Киев – только за флору. Я ему подsunул несколько его работ, напечатанных в «Новом мире» и переплетенных мною в одну книгу. Он сделал надписи. На титуле «Месяца во Франции» написал: «Vive la France, дорогой Олег! Давай встретимся в каком-нибудь кафе на Монмартре!» Хорошо бы, хорошо бы!.. На замечательных эссе «В жизни и в письмах»: «Сыграй, Олег, Хлестакова, а я напишу рецензию в продолжение этих очерков». Но это уже проехали. (А я думал, у вас рука всегда легкая, Виктор Платонович!) На «Дедушке и внучке» осталась такая надпись: «Иссяк! Просто на добрую память». И потом добавил: «Тебе нужно писать самому. Дневничок завести. Это и для упорядоченности мозгов хорошо, и для геморроидов. Для геморроидов в особенности. Даже если нет времени – хотя бы конспективно... У тебя ведь есть одно преимущество: все писатели сейчас, как правило, не блещут фантазией. Все на уровне правдочки. А артисту чего-нибудь сочинить, нафантазировать – тьфу!.. ничего не стоит. Поэтому не стесняйся и между делом записывай. У тебя язычок острый, точный». Я, помню, тогда пожал плечами: «Чего это мне записывать, В.П.?» Но, конечно, в голову запало. Запало – и вот результат.

Надо бы как-то закончить это повествование. У Гоголя замечательно кончается «Повесть о том, как поссорились...»: «Грустно жить на этом свете, господа». Действительно, грустно. А что у Пушкина? «Сцена из Фауста»? Мрачновато. «Фауст: Все утопить. Мефистофель: Сейчас. (Исчезает)». К тому же и неопределенно, как будто за этим что-то еще последует. А последует ли у меня – еще вопрос. Нет, если уж из Пушкина, то лучше взять «Домик в Коломне»:

...Больше ничего
Не выжмешь из рассказа моего.

Вот это подходит.

Март, 3

Играю старика⁶. Роль *хорошая*, чистая (грязная только голова, ее перед каждым спектаклем нужно красить) и существует как-то сама по себе. После Коня, моего киевского дебюта⁷, не играл ничего похожего. Конечно, в этой пьесе, вампиловском «Чулимске», есть фигура поинтересней. Это следователь Шаманов. Вел дело какого-то «сынка», захотел поса-

дить. Посадить не дали. Шаманов настаивал на суде, но его скрутили. Уехал в глушь, в этот самый Чулимск, и все время мечтает о пенсии.

Мне передали – очевидно, целенаправленно – реплику из товстоноговского кабинета. Дескать, Шаманова – роль, которую дали Лаврову, – мог бы сыграть Борисов, мог бы... и Г.А. это понимает. Но тогда бы пьеса стала непроходимой. До моей пенсии осталось пятнадцать лет. Долго еще доказывать.

Апрель, 4

Для тех, кто начинает с героев

Один молодой артист с высоко поднятой головой идет по театру. Он только что сыграл премьеру. От него пахнет хорошим одеколоном, он в кожаном пиджаке. Баловень судьбы! Однако я заметил, как, проходя кабинет Товстоногова, он вдруг – наверное, непроизвольно – голову склонял как-то набок и начинал заискивающе кланяться. Даже если перед ним была только тень, а не сам Товстоногов. Я, может, и напрасно, но, когда с ним рюмочку за его премьеру выпил, по-дружески ему посоветовал: «Ты бы скромнее, незаметнее ходил по театру. Здесь ведь такие зубры, как в Беловежской пуще. Они тебя быстро проглотят. И, наоборот, у кабинета Товстоногова выпрямлялся бы, спину бы держал прямо, не гнул. Независимым нужно быть именно в этом месте – у его кабинета».

У этого артиста ряд несомненных достоинств. Прежде всего фактура. Он по-хорошему нагл, талантлив. А головокружение тут лечат быстро... Впрочем, не в одном головокружении дело. Если б я захотел его еще чему-нибудь научить, я бы посоветовал не начинать с героев. Лучше с простаков, комиков... с чего угодно, только не с героев! Тот, кто начинает с героев, кончает плохо.

Апрель, 17

Юра, которому исполнилось только что 18, собрался поступать в консерваторию. Объявил это нам с Аллой и попросил купить инструмент.

Для нас это полная неожиданность: вроде бы он музыкой никогда не интересовался. С.В.⁸, наша подруга, успокаивает: ничего, годик поиграется, и у него это пройдет.

Шок.

Годик прошел. Сидит, обложенный книгами по теории. Ходит в оперный театр, ходит на гармонию и сольфеджио. На маленьком «Блютнере», который мы ему подарили, долбит этюд Рахманинова и интермеццо Брамса. Ему говорят, что надо начинать не с этого, а с простеньких гамм и этюдов Черни. После двенадцати в стенку и по батарее стучат соседи.

Вчера приходила Люся Гурченко. Он сыграл ей всю программу, весьма пристойно. Она похвалила, но после этого стала напевать свои зонги.

Педагоги говорят, что так, как он играет, неплохо для теоретического. Он все равно нервничает, хочет проконсультироваться еще с одной дамой, профессором. Пойдем завтра куда-то в район Комендантского аэродрома.

А интермеццо Брамса в миноре замечательное! Австрийские туманы... Слушаю по тридцать-сорок раз в день. А потом громко хлопаю дверями и пытаюсь сосредоточиться на чем-то своем.

Апрель, 20

Почему Моцарта похоронили в общей могиле

Маленького мальчика с белыми кудрями (Алена до сих пор хранит его локоны в конверте), когда ему было три года, как положено, подвели к инструменту. Спросили: хочешь, сынок, заниматься музыкой?

У нас с ним отношения доверительные, как со взрослым. Юра открыл крышку, ползал под инструментом. Рояль был трофейный, достался его деду после войны. На нем еще занимались маленькая Алла с братом. Р.С.⁹ с этого рояля каждый день сдувал пыль.

До этого Юру уже сводили на балет, и он все время спрашивал, когда еще пойдем на «Сцыкунчик». Театр полюбил, но тогда, около рояля, мое предложение отклонил: нет, говорит, не хочу заниматься. Я попросил его хорошенько подумать: он ни в какую. Юра – человек самостоятельный, никакого насилия к нему никогда не применялось. Даже ремня. «Не хочешь – дело твое» – у нас с Аленой такой метод. По-моему, правильный. Помните, Анучкин¹⁰ обижался на отца, говорил: «Я был тогда еще ребенком, меня легко было приучить – стоило только посечь хорошенько». Нет, Юра так не скажет – он ценит свою свободу.

Недавно увлекся шахматами. Ходил к Владимиру Григорьевичу Заку¹¹, учителю Спаского и Корчного. Тот открыл в нем способности, особенно в разыгрывании гамбитов. Юре нравился стиль Таля (все жертвовать!), особенно королевский гамбит, который он чаще всего применял. Придумал одно свое продолжение и хотел доказать, что оно «корректно» (такой есть у шахматистов термин). Он дошел до первого разряда, выиграл важный турнир и... все бросил.

Когда я подарил ему книжку Шкловского «Тетива. О несходстве сходного», он выучил ее наизусть и везде цитировал. Собрал потом все другие его книжки и стал пробовать писать «под Шкловского». Кончилось это олимпиадой по литературе среди школьников, в которой моему сыну достался диплом второй степени. Когда председатель жюри вручал ему этот диплом, он шепнул ему на ухо: «Попахивает формализмом. Вы – формалист?» Со Шкловским было покончено.

Началось увлечение античностью. Юра пропадал в Эрмитаже и каждый день спрашивал что-нибудь новенькое: кто такой психагог или Рыцарь Наугольника. Мы отправились на Литейный, к букинистам, и купили Мифологический словарь. Но этого мало. Они с Аллой идут на консультацию в Университет – на кафедру греческой филологии. Туда берут трех-четырех человек и через год обучения, как правило, их же и отсеивают. Юра там поправился, ему дали целую программу, чтобы он готовился. Слава богу, определился.

Однажды достали два билета на хоры в филармонию. Был вечер устных рассказов Андроникова. Мы с ним пошли. Юра меньше слушал рассказы, а все разглядывал колонны, бархат, вообще зал. В антракте забрели в маленький музейчик, который находится наверху, за органом. Моему сыну обрадовалась старенькая библиотечарша и стала ему рассказывать о зале Дворянского собрания. Разглядывали старые афиши. Неожиданно мой сын попросил разрешения прийти сюда еще раз, но чтобы была музыка. Спросил у библиотечарши, можно ли купить билет на завтрашний концерт. Она сказала, что на завтрашний никак нельзя, потому что играет Мравинский. Юра не знал, кто это. «Зевс! – коротко пояснила библиотечарша. – Он уже две недели репетирует. Будет играть «Франческу» и «Аполлона».

На следующий день Юре удалось с рук купить входной билетик на хоры, и с этого все началось. Он заболел музыкой, и в особенности «Франческой» Чайковского. «Представляешь, папа, – говорит после концерта потрясенный сын, – Мравинский ногой распахнул двери в ад! Ногой! Чайковский ведь написал эту поэму по «Пятой песне ада» Данте... Зашипел гонг, и он... жжах!.. ногой!..»

После этого он два дня с нами не разговаривал и вот теперь объявил о своем решении поступать в консерваторию.

...Пока Юра разыгрывался в другой комнате, я все это рассказывал профессору консерватории, к которой мы пришли консультироваться.

Она послушала интермеццо Брамса, улыбнулась снисходительно, проверила слух, заварила кофе и... обрушилась: Олег Иванович, зачем ему теоретический? Какого дьявола?

Из него вырастет еще один музыкальный критик, и что? Неужели вы не можете увлечь его чем-нибудь живым? Вы обрекаете его всю жизнь быть *возле* музыки (в этот момент Юра поперхнулся кофе). Вы знаете всех театральных критиков, они же все – *возле* театра, а кино-критики – *возле* кино. Все без исключения. Это несчастные люди, почти все импотенты, я хорошо по себе знаю... Ведь именно критики виновны в том, что Моцарта бросили в общую могилу! Кого – Моцарта!»

Это «возле музыки», «возле театра» она произносила с такой брезгливостью и вместе с тем с такой беспощадной честностью, что сострадание к этой «несчастной» женщине взяло верх. Я подумал, ведь она права, я должен был сам до этого додуматься.

Мы поблагодарили ее за кофе и, не сказав больше ни слова, ушли. У меня в ушах еще долго стоял ее повизгивающий голос.

Юра затих. Никто не знает, что будет дальше.

Июнь, 7

От конца вернее

Пошли в Гостиный двор покупать «Рубин» – цветной телевизор. До сих пор у нас стоял старый, черно-белый ящик марки «Темп» со знаком качества: «Ну, лучше никак!..» Для того чтобы переключить на другой канал, нужно было по нему ударить. Кулаком, наотмашь.

А продавщица в Гостином, конечно, «по рекомендации», не просто так. И своим превосходством пользовалась. Она требовала непременно меня. Если бы пришли жена с сыном, ее бы это не устроило. Стала у Аллы на ушко допытываться, сколько мне лет. Когда узнала, начались комплименты: дескать, этих лет мне не дашь – ну и все в таком духе. Ощущение не из приятных.

Есть смешной рассказ Вики Некрасова про то, как он что-то покупал в киевском гастрономе – кажется, сыр. Он просит продавщицу сыру, а она ему: «А сколько вам лет, молодой человек?» (Хорошо, что та, из Гостиного, не додумалась спросить об этом прямо меня.) Некрасов – сыру, а она кокетничать. Как пчела, пристала со своим вопросом. Вика не выдержал и ответил примерно следующее: «Это как считать. Считать можно по-разному. Если от рождения – то один срок, но лучше считать от конца. От конца вернее». У той вытянулось лицо: «Это как?» – говорит. «А очень просто, – хладнокровно объясняет Некрасов. – Если тебе тридцать три года, а Всевышним отпущено тридцать четыре, то ты уже глубокий старик. Можешь начинать мемуары и, в общем... закругляться. А если тебе тридцать три, а жить до ста, то ты еще щенок». Продавщица потихоньку трезвела (конечно, она была косая!), но все-таки взять в толк ничего не могла: «А как узнать, как узнать...»

Было это еще в Киеве, тогда у нас стоял старый «КВН» с линзой.

Теперь мне уже сорок пять, и я все вижу в цвете. (Сорок пять от рождения.) Правда, пока все в розовом – точнее, в розово-красном цвете, потому что настройка синего в новом телевизоре – такая вот маленькая ручка! – отказала.

Август, 10

Фрумин снимает хорошо, особенно антураж школы¹². Как будто скрытой камерой. У Саввиной роль замечательная, особенно сцена, когда школьники покупают цветы для какого-то мероприятия, а она их блюдет. Все по нескольку раз этот дубль бегали смотреть.

Перерыл у Юры целую гору шахматной литературы и нашел то, что мне нужно для сцены с Кошониным. А нужна была очень умная шахматная книга. Выбор пал на «Психологию шахматного творчества» Крогиуса.

Кстати, фильм называется «Дневник директора школы». (Дневник!) Значит, мой Свешников и я сам теперь «ни дня без строчки». Надолго ли нас хватит?

Неплохой получается образ – *неромантический*. То, что сразу приходило в голову, – учитель с несложившейся судьбой: мог бы достигнуть каких-то высот, если бы не пошел в школу, если бы рано не женился, то есть некий мелодраматический налет, – ничего этого нет. Свешников предан своему делу, только и всего! Для себя ничего не возьмет и такими же хочет воспитать детей. А дома под боком сын растет тунейдцем.

Сентябрь, 4

В театр пришел режиссер Давид Либуркин. Вроде как у него с Г.А. такой уговор: в двух спектаклях он ему ассистирует, третий ставит сам.

Сейчас Либуркин будет репетировать «Три мешка...»¹³. Так часто бывает: Г.А. подключается тогда, когда будет кем-то «размято». Но для меня «размять» – главное. Роль делается за столом. И чем упорней и скрупулезней будет эта работа, тем потом легче приспособиться к любой режиссуре.

В кино некоторые режиссеры окрестили меня «скрупулезником».

По-моему, в этом нет ничего обидного. А вот что думают по этому поводу у меня в театре. «Давид, – говорит Товстоногов Либуркину, распределяя роли и напутствуя, – все актеры у вас замечательные. Посмотрите, какой букет: Стржельчик, Копелян, Тенякова, Медведев, молодой Демич... он уже заставил о себе говорить... Со всеми вам будет легко работать. Есть только одна трудность – Олег Борисов! С ним вам будет как в аду. Каждую секунду будет останавливать репетицию и о чем-то допытываться. Характер – уффф! Мужайтесь, Давид, тут я вам ничем помочь не могу!» И развел руками.

Это уже как клеймо, как шлейф – на всю жизнь. А началось это в Киеве. Там была почти такая же версия. Артист Мажуга сокрушался: «Человек – г...о, а артист (колеблется)... артист хороший». Спасибо и на том.

Октябрь, 10

О молодом человеке с удавкой, собаках Ване и Васе

Товстоногов придумал замечательно: в «Мешках» должны быть живые собаки. У Тендрякова в повести постоянно о них говорится. Они всякий раз, когда чувят беду, когда плохо их хозяину Кистереву, начинают завывать: «...то вперебой, переливисто, истошно-тенористо, с подвизгиванием, то трубно, рвущимися басами...» Товстоногов настаивал, чтобы мы с Давидом Либуркиным поехали на живодерню: «Видите ли, Олег... это как «Птицы» Хичкока. Вы видели в Доме кино? Как они крыльями машут над городом!.. Но там это проклятье, а в нашем случае собаки – совесть народа... И укусят могут, как эти птицы. И в щеку лизнут, если человека уважают... Нет, чем больше я об этом думаю, тем гениальней нахожу эту идею!»

Видимо, он немного остыл, когда задумался, как это реально сделать. Если сначала речь шла о стае («Что нам стоит в этом любимом народом театре завести стаю собак!»), то потом все-таки остановился только на двух: «Олег, нам нужны не откормленные, не респектабельные, а чахлые, которые в блокаду могли человека сожрать!»

Две чахлые собаки – такое задание получил Либуркин. Было ясно, что на живодерню поеду и я, так как я этих собак должен был к себе приручать.

На живодерне нас встретил молодой парень с удавкой. Попросил не обращать на нее внимания, потому что «это не удавка, а бросковый металлоаркан», как пояснил он. Вроде как она перешла к нему от предыдущего инструктора. «Настоящий был садист», – добавляет этот, молодой. Я его почти не слышу, потому что лай и скулеж душераздирающий. Они ведь все чувствуют – кому дня три осталось, кому десять, но не больше. Им сделают укол, и они уснут. «А что остается? Выхода нет...» – продолжает молодой инструктор. Во всяком случае, он сам так представился, имени не назвал.

Но почему здесь, на живодерне, инструктор? Инструктор должен кого-нибудь инструктировать. «А это и не живодерня, кто вам сказал? Слово-то несправедливое. Это Дормехслужба, вот как. Вам не попадалась девочка с отгрызанным ухом? Обглоданная старушка? В Ленинграде знаете сколько укушенных за год? Двадцать тысяч... Люди, конечно, сами виноваты – заводят собак, а потом выбрасывают. Особенно много, когда сука брюхата... Люди – варвары!» Он сказал это и пошел за собакой, которую для нас приготовил. Ему, конечно, звонили, и он все уже знал.

Морды высывались сквозь прутья, а у одного пса – рыжего – были удивительные, полные любви глаза! Он сначала поприветствовал меня поднятием лапы: салют тебе! – и лизнул руку.

У этого инструктора работала «спидола». Оттуда хрипела бетховенская «тема судьбы». Меня в одну секунду оторопь проняла – мне показалось, что у них у всех человеческие глаза: не только у того рыжего. Значит, это такое наказание. В этой жизни человек совершает преступления, а в следующей – вот так за них расплачивается. И тебе придет очередь расплачиваться, и Либуркину, и этому инструктору. И еще хорошо, если тебя сделают собакой, а не лягушкой. Ведь не все же собаки откусывают ухо девочкам.

Инструктор вывел овчарку – ухоженную, с палевой холкой, уши стояли по всем правилам породы. В сердце кольнуло: такого пса грех не спасти от мыла. Инструктор погладил его против шерсти (так, оказывается, нужно их гладить) и произнес: «У богатеньких хозяев на постели валялся... Потерялся, видать...» Либуркин сохранял ледяное спокойствие: «Такой овчарки во время войны в Нижней Ечме быть не могло. Голод!» Овчарку увели, и я еще раз посмотрел на того рыжего «человечка». Породы не определить: наверное, отец был колли, а мать – какая-нибудь дворняжка. Я сунул ему колбасу, которую принес с собой, а он... не взял. Тут еще встал на задние лапы черненький малыш, вот этот уж совершенный дворняга, и стал сучить передними лапами. Взгляд прямой, как будто на мне застыл... Так их судьба и решилась – мы отобрали этих двоих.

Я подумал, что один будет Ваня, другой – Вася. Будущий Ваня – тот, который рыжий, – на новое имя откликнулся сразу. Правда, инструктор откуда-то знал его прежнее прозвище – Гай! (В честь Цезаря, что ли? Или Гриши Гая? Представляю, что бы было, если б в театре появился еще один Гай, да еще из Дормехслужбы.) А тот, которого я хотел сделать Васей, не отзывался. Упорно. Поэтому остался Малышом.

Забрать нам их сразу не разрешили – они должны пройти недельный карантин. Чтобы в БДТ никого и ничем не заразить. Все, как в туманном Альбионе там при въезде в страну тоже есть собачий карантин – полгода!

Когда прощались с инструктором, он нас еще раз спросил про овчарку: может, кому домой? Я подумал, может, вправду домой взять? Начал колебаться... что скажет Алла? Но он опередил меня: «Возьму я... уж больно хорош пес. Это будет у меня дома седьмой».

По дороге в театр Либуркин стал допытываться: почему Иван? Почему человеческое имя? Перебрал в БДТ всех Иванов, кто бы мог обидеться. Но Иванов в БДТ оказалось немного, да и я для себя уже решил; я сам – сын Ивана, и мне необходимо. Иван, родства не помнящий, – это будет его полное имя.

Октябрь, 19

Шейка

Звание дали. Теперь я народный артист. Одиннадцать лет носил почетное звание заслуженного Украины – это как оковалок или задняя часть. Теперь отвалили шейку. Только что сообщил об этом Алене – она в Таллине, на телевизионном семинаре. А театр с «Мещанами» – на гастролях за границей. Приедут – порадуются.

Юра нашел у Чехова такую запись в дневниках: «Мой папа имел до Станислава второй степени включительно». Действительно, раньше имели Анну, Владимира, Белого Орла... Сортировщик в «Палате № 6» мечтал о шведской «Полярной звезде». А лучше вообще без регалий. Объявляли просто: Иван Бунин. И все знали. Вместе со званием «народный РСФСР» мне полагается теперь небольшой участок в Комарово и полдома. Пожизненно. Скоро дадут ключики, можно будет отдыхать. Это самая большая польза.

Ноябрь, 14

Не всем бежать на короткие дистанции!

Георгий Александрович непредсказуем. Вчера он радовался, что в театре появились собаки. Прошел мимо вольера, построенного посреди театрального дворика. Его насмешила надпись на будке: «Никому, кроме Борисова и Хильтовой¹⁴, собак не кормить». На репетиции спрашивает: «Это правда, Олег, что вы каждый день встаете в шесть утра, чтобы их кормить? И что, кормите три раза в день?» – «Кормлю и выгуливаю, – констатировал я. – Деньги театр выделил, по рублю в день на собаку». – «Хм... неплохие деньги...» Но в какой-то момент собаки стали его раздражать. Однажды Ванечка ни с того ни с сего завилял хвостом и зачесался. «Почему он виляет? И что, у него блохи? Олег, вы мне можете сказать, почему у него блохи?» – Г.А. нервно вскочил с кресла и побежал по направлению ко мне. «Это он вас поприветствовал, Георгий Александрович», – попробовал выкрутиться я. «Олег, нам не нужен такой натурализм, такая... каудальность!» – выпалил раздраженный шеф. В зале все замерли. Естественно, никто не знал, что это такое – каудальность. Г.А. был доволен произведенным эффектом. Всем своим видом показал, что это слово вырвалось случайно, что он не хотел никого унизить своей образованностью: «Я забыл вам сказать, что это слово произошло от латинского «хвост». Я имел в виду, что нам не стоит зависеть от хвоста собаки!»

Г.А. любит пощеголять научными или иностранными словечками. Еще я запомнил «имманентность», «зароастризм», но, в общем, эти его перлы достаточно безобидны.

Но были и небезобидные. Когда я, удрученный своим положением, собрался уходить из театра, он пообещал мне роль Хлестакова. Бросил кость. И еще сказал, когда я уже был на пороге его кабинета: «Олег, не всем же бежать на короткие дистанции – должны быть и стайеры!» Видя, что я призадумался над этим афоризмом, пояснил: «Не всем же быть любимчиками, Олег».

Ноябрь, 29

«В зерне»

Моя последняя сцена – собрание в сельсовете.

Медведев (Божеумов) – мой враг, но я гляжу поверх него.

Не реагирую на то, о чем они говорят с Рыжухиным и Демичем¹⁵. А они спорят, привлекать ли к ответственности того, кто сокрыл от государства мешки сорной пшеницы. Спорят до хрипоты. Я нем, как будто меня это не касается. Однако молчание затягивается, я начинаю дергаться. Спрашиваю Либушкина: «Что я тут делаю?» Он отвечает спокойно: «Олег, идет накопление».

Медведев с Рыжухиным продолжают спорить, оставить мешки в поселке или отдать в город, как велело начальство. Медведев настаивает. Я сижу как заговоренный. Однако вскоре снова спрашиваю Либушкина, не поворачивая шеи: «Что я тут делаю?» Он опять невозмутим: «Олег, идет накопление».

Наконец Медведев, ничего не добившись, произносит сухо: «Поговорили. Выяснили. Теперь все ясно». Я знаю, что следующие слова мои. Либушкин просит, чтобы пауза тянулась сколь возможно долго. Несколько секунд все ждут, буду ли я говорить. Наконец Либушкин

подает мне едва видимый знак, я как будто оживаю: «Не все ясно! Неясно мне, Божеумов, кто вы?» Накоплена необходимая энергия для моей сцены.

Давид Либуркин говорит о двух полюсах, об экстремизме добра и зла. Вот они напротив друг друга: Кистерев и Божеумов... Мне не совсем понятно, что такое экстремизм добра. Давид напоминает сцену со Стржельчиком и Демичем из 1-го акта. Там у меня монолог, который так заканчивается: «Хоть сию минуту умру, лишь бы люди после меня улыбаться стали. Но, видать, дешевле я, даже своей смертью не куплю улыбок». Мысль, близкая Достоевскому. «А ежели вдруг твоей-то одной смерти для добычи неостанет, как бы тогда других заставлять не потянуло», – мрачно добавляет Стржельчик. Если так, то это и вправду похоже на экстремизм.

А если сформулировать проще, понятней, то эта мысль – за добро надо платить. И Кистерев платит. И, мне кажется, каждый из нас в жизни за добро платит.

Мне всегда интересен предел, крайняя точка человеческих возможностей. А если предела не существует? Носители экстремизма, убежден Либуркин, всегда ищут этот предел. А за пределом – беспредел, бесконечность?

Этой проблемой был озадачен и Гарин¹⁶ – достижением бесконечной власти над миром.

На уроках физики я когда-то допытывался у своего учителя. «Мы видим небо, звезды, а что за ними?» «Другая галактика», – неуверенно отвечал физик. «А что за другой галактикой? За другой цивилизацией? – не унимался я. – Где-то же должен быть потолок? А за этим потолком – следующий. А что за тем потолком, следующим?» Физик рисовал на доске крендель – лежащую боком восьмерку, которая у них, у физиков, означает бесконечность. Смешные люди.

В конце сцены с Медведевым я должен показать свой предел. Только как? Заорать, в конвульсиях задергаться? Неожиданно подсказывает Либуркин: «Убей его! Убей!» «Чем?» – сразу вырывается у меня. Как сказал бы К.С.¹⁷ – я «в зерне»!

Тут же рождается импровизация: я срываю протез на руке (Кистерев – инвалид) и ломаю его крепление. На сцене раздается неприятный звук: хрясть! В зале кто-то вскрикнул: им показалось, что я оторвал себе руку (!). Я чуть замахируюсь протезом на Медведева, и, хотя расстояние между нами полсцены, он отреагировал на этот мах, как на удар. Закрыв лицо, закричал что-то нечленораздельное. Испугался даже невозмутимый грибник Боря Рыжухин. Либуркин радостно кричит из зала: «Цель достигнута, Олег! Это и есть предел! Все эмоции должны кончиться, их физически больше не может быть. За этим – уже смерть!»

Смерть Кистерева придумаем завтра. За добро надо платить, Сергей Романович¹⁸.

Декабрь, 25

«Ефим Закадрович» и другие

Сегодня все соединилось в первый раз: актеры, свет, Гаврилин... Появились зрители.

Роль, которую играет Демич – роль Женьки Тулупова, – поделена на двоих. Старший Тулупов – Фима Копелян. У него комментарии из сегодняшнего дня. Прием не новый. Копелян ходит за Демичем и сокрушается, что в молодости делал много глупостей. Но как сокрушается! Какие уставшие, все говорящие глаза!

В конце спектакля напутствует Демича. А тот, хоть и глядит на хитрый копеляновский ус, не верит, что проживет так долго. «Как видишь, смог», – говорит Тулупов-старший, но за этим «смог» – и то, как били, и то, как сжимал зубы. Ироничный, многомудрый Ефим... «У меня в последнее время странные роли, – пожаловался он мне. – За всех все объясняю, доигрываю... Озвучил только что бредовое кино: прежде чем они в кадре что-нибудь возъ-

мут в рот, я за кадром все им разжевываю: «Информация к размышлению... информация к размышлению». И так много серий... Меня даже прозвали за это Ефильмом Закадровичем. Слышал?»

Во время репетиции Копелян держался за живот. Потом ему стало плохо. Но, наверное, не в животе дело. Он тяжело вводился в этот спектакль (по существу, это был ввод). Все было сделано, разведено, пока он снимался. За него «ходил» и Стржельчик, и Либуркин, и я. Потом, когда он приехал, у него не пошло. Оставалось всего две недели. Он попытался сломать неудобные рамки, но не давали уже мы, а потом и Товстоногов.

Сегодня пришли первые зрители. Его выход. Товстоногов Копеляна останавливает: «Ефим, это неудачная попытка! Вы как не в своей тарелке! Потрудитесь начать снова!»

Был опущен занавес. Ефим переживал, лицо стало зеленым. «Остановил прямо на публике, надо же...» – едва слышно проворчал он и попросил небольшую паузу.

А тут еще одна напасть – заскулил Малыш. «Уберите собаку!» – закричал Товстоногов. «Как же ее убрать, если сейчас ее выход?» – психовал уже я. Г.А. был непоколебим: «Если он не замолчит, мы этих собак вообще уберем к чертовой матери! Они не понимают хорошего обращения». А пес, как назло, скулил все сильнее. Я быстро побежал к нему, к этому маленькому идиоту, и влепил ему «пощечину», тряся изо всех сил его морду. Орал на него благим матом: «Если ты сейчас же не прекратишь выть, тебя отправят обратно на живодерню! Ты понимаешь, засранец ты эдакий, он все может, ведь он здесь главный – не я! Из тебя сделают котлету!» Малыш вытаращил на меня глаза и... как ни странно, затих.

На Г.А. это произвело впечатление – он слышал мой голос, доносившийся из-за кулис «Мне очень понравился наш монолог, Олег! Это талантливо! И главное, мотивировки верные».

После репетиции я просил у Малыша прощения.

Декабрь, 30

«Ваня, на совещание!»

Хорошо прошел прогон «Трех мешков». Хорошо – не то слово. Ванюшка сорвал аплодисменты в своей сольной сцене.

Когда все собираются в Кисловский сельсовет, я кричу ему: «Ваня, на совещание!» Как будто человеку. И из-за кулис выбегает радостный «помесь лайки с колли» и несется ко мне через всю сцену. Я волнуюсь, потому что он в первый раз видит полный зал зрителей. Когда бежит, бросает небрежный взгляд в их сторону (небрежный – так просил хозяин).

В следующей сцене заслуживает поощрения провинившийся накануне Малыш. Мы едем в кузове грузовика, они уже привязаны. Ванька беззвучно дышит, чтобы не помешать нашему общению с Демичем. Малыш сначала облизывает меня, а потом, когда я говорю Юре: «Вы считаете, что все человечество глупо?» – лижет его в губы. Собачья импровизация!

Г.А. был очень доволен и уже в антракте пожал обоим лапы – и Ваньке, и Малышу: «Нельзя ли это как-нибудь закрепить, молодые люди?» И шикарным жестом достал из кармана два куска колбасы.

Наверное, это последняя в этом году запись.

1975 год

Январь, 10

«Борисов – два!!»

Пишу и понимаю, что все не так с точки зрения синтаксиса. Может быть, потому, что роль Кистерева старался прочитать «неграмотно» – без точек, запятых. Расставлял их для себя как бог на душу положит, против всех правил.

Правила всегда учил плохо. В школе по русскому была крепкая тройка, а иногда – редко – слабая четверка. Это уже считалось «прилично».

Сидеть за учебниками не было времени. Если бы на экзаменах нужно было сдавать столярное ремесло, паяльное, лудильное, парикмахерское – это были бы пятерки.

Физик по фамилии Заяц меня ненавидел. Люто. По его науке я был самым отстающим. Он влетал в класс как петарда. Мы еще не успевали встать, чтобы его поприветствовать, а он кричал с порога: «Борисов – два!» Я ему: «За что?» А он мне снова: «Два!» Да так, что чуть гланды не вылетали.

Я был безнадежным учеником, но все-таки определение свирели (то есть обыкновенной дудки с точки зрения физики) он заставил меня выдолбить. По сей день помню: «...при введении воздуха в какую-либо пустотелую трубку струя попадает в узкий канал в верхней части свирели и, ударяясь об острые края отверстия...» И так до бесконечности.

«Материализм и эмпириокритицизм» тоже не давался. Но тут педагог был настроен по-философски. Он размышлял: «Ты, Борисов, знаешь на «кол», остальной класс – на «два», твой сосед Степа (а он был отличник) знает на «три», я знаю на «четыре». На «пять» – только Господь Бог, и то с минусом». Я пытался возразить: откуда, дескать, Господь что-нибудь знает об эмпириокритицизме? Педагог соглашался: «Тогда на «пять» знает только автор учебника».

Учительницей пения была немолодая женщина с усиками, которая за неимением помады мазала губы свекольным составом, а лицо – жировкой по своему же рецепту. Девочки видели, как она всеми этими притираниями торговала подальше от школы. Она пыталась развить в нас композиторские таланты. Твердила изо дня в день: «Музыку сочиняет народ, а композиторы ее только портят».

Хуже всего обстояло с математикой. Педагог глядел на меня и плакал. Однажды он увидел меня в школьной самодеятельности. На сцене дружно маршировали, я переодевался в бандита и нападал на своего одноклассника. Его гримировали «под Кирова». Киров был ранен, но оставался жить, а меня в упор расстреливал ЧК. (По замыслу учительницы пения, которая ставила эту сцену, все должно было быть не так, как в жизни, а со счастливым концом.) Я скатывался со сцены, издавая душераздирающие крики, бился в конвульсиях. Учительница пения делала отмашку, когда нужно было заканчивать с конвульсиями и умирать под музыку.

После этой сцены ко мне подошел математик и предложил прогуляться. Говорил он сосредоточенно, ответственно: «Я не хочу, Алик, портить тебе жизнь. Из тебя может вырасти хороший комик. (Уже тогда было заметно!) Теперь слушай внимательно. Ты первый войдешь в аудиторию, занимая очередь хоть с утра, но первый. (А приближались выпускные экзамены.) Вытащишь билет, который я незаметно тебе подложу. То, что будет в этом билете, выучишь заранее, за две недели. Я поставлю тебе тройку. Но в тот же вечер на костре сожжешь все учебники по математике и дашь клятву, что больше никогда к точным наукам не прикоснешься. Ты слышал – клятву! Будешь пересчитывать зарплату – на это твоих знаний хватит».

Я исполнил все, как и обещал, – поклялся на коленях. А потом в костер полетели тригонометрия, алгебра, физика, химия и еще много кое-чего.

Интересно, что все это передалось и Юре. (Как? Гены?) Даже его учителя физики звали почти так же, как и моего: Зайцев Юрий Геннадьевич. Но Юра нашел к нему подход. Он встретил его в филармонии, в Большом зале – оба любили Мравинского. Они решили в кабинете физики вместо урока по пятницам устраивать музыкальные лекции – просвещать учи-

телей. Со специальным светом. Физик принес проигрыватель. Юра подготовил лекцию о Стравинском. Пришли двое: мой сын и учитель физики.

Надо будет еще поразмышлять о генах: что передается, а что нет. И проверить синтаксис.

Февраль, 7

«Мешки» сыграли уже несколько раз – все в подвешенном состоянии. Ждут, когда придет Романов¹. Ефим в больнице, вместо него теперь играет Лавров.

На сдачу начальники прислали своих замов. Приехала московская чиновница с сумочкой из крокодиловой кожи. После сдачи, вытирая слезу – такую же крокодиловую, – дрожащим голосом произнесла: «С эмоциональной точки зрения потрясает. Теперь давайте делать конструктивные замечания». Г.А., почувствовав их растерянность, отрезал: «Я не приму ни одного конструктивного замечания!»

Теперь никто не знает, что делать – казнить или миловать. Никто не хочет взять на себя ответственность. Решили прицепиться к плачу Зины Шарко – после смерти Кистерева есть сцена плача, бабьего воя. «Зачем эти причитания? Какие-то волчьи завывания! И так кишки перевернуты, – пошла в атаку комиссия. – Уберите эту сцену вовсе». А плач для Шарко написал сам Гаврилин. Она причитала как профессиональная вопленица, плачущая. Как будто летали по залу сгустки угара. Однако Г.А. решил принести жертву. «Даже Ифигенией жертвовали! А знаете ли, Давид, – он обращается к Либуркину, – что приносили Господу израильтяне? Однолетних агнцев и козла в жертву за грех. Вот и нам придется, за неимением агнцев пожертвуем плачем». И приказал Либуркину всю сцену «обрезать».

Либуркин сделал по-своему. На свой страх и риск договорился с Шарко, что она будет причитать не так надрывно, и все оставил, как было.

Сыграли еще один спектакль, хотя никто его так и не разрешал. Ждут Романова. Пока его нет, комиссия пришла еще раз и... на тебе – опять плач! Товстоногов вызвал Либуркина («А подать сюда...») и влил ему по первое число. Давид попытался оправдываться: рушится сцена и что-то в этом духе. Комиссия негодовала и пригрозила: если Шарко завоюет опять, театру несдобровать. А Либуркин по второму разу договорился с Зиной, что она смикширует, сократит... Во время ее стонов Товстоногов аккуратно приходит в свою ложу, слушает и уходит обратно в кабинет.

Наконец его вызывает Романов. В театре – траур, никто не ждет ничего хорошего. Г.А. пишет заявление об уходе и держит его в кармане – наготове. «Олег, если бы вы заглянули в эти бледно-голубые стеклянные глазки! – рассказывал он, возвратясь из Смольного. – Наверное, на смертном одре буду видеть эти глазки!»

Когда-то Екатерина Алексеевна Фурцева² устроила Г.А. настоящий разнос – тогда театр привез в Москву «Генриха IV»³. Она усмотрела в спектакле нападки на советскую власть. Ее заместители выискивали «блох» в тексте, сидели с томиками Шекспира на спектакле (!), и за каждую вольность, за каждое прегрешение против текста она была готова открутить Г.А. голову. Товстоногов тогда делился с нами впечатлениями: «Понимаете, корона ей действовала на нервы. Как ее увидела, сразу на стуле заерзала (огромная корона – символ борьбы за власть в английском королевстве – висела прямо над сценой). Решила топнуть ножкой: «Зачем вы подсветили ее красным? Зачем сделали из нее символ? Вы что, намекаете?.. (И далее почти как Настасья Тимофеевна из чеховской «Свадьбы» – если хотите, сравните.) Мы вас, Георгий Александрович, по вашим спектаклям почитаем: по «Оптимистической», по «Варварам» и сюда, в Москву, пригласили не так просто, а затем, чтоб... Во всяком случае, не для того, чтоб вы намеки разные... Уберите корону! Уберите по-хорошему!» – «Как же я уберу, если...»

«Ах, так!..» – и из ее глаз тогда сверкнули маленькие молнии и томик Шекспира полетел к моим ногам». Кроме того, Г.А. получил вслед нелестные рецензии не только на «Генриха», но и на «Ревизора» и «Колумба»⁴ в придачу.

...Когда Товстоногов появился в театре после Смольного, все вздохнули с облегчением. Он сиял: «Романов на «Три мешка» не придет! Фурцева на «Генриха» прибежала – вот и обос...сь! Оказывается, нужно радоваться, когда начальник про тебя не вспоминает. Романов мне так и сказал: «Цените, Георгий Александрович, что я у вас до сих пор на «Мешках» не был, цените! Если приду, спектакль придется закрыть».

Г.А. сразу пригласил нас с Демичем и Стржельчиком в свой кабинет, и мы премьеру отметили.

Март 7

Грибы и углеводы

В тот день, когда я стал делать свои первые записи (а это было во время репетиций «Чулимска»), ко мне заглянул Фима Копелян. Шли уже сценические. Товстоногов не был доволен тем, как получается сцена у Головиной. «Это долгая история», – подумал я и засел в своей грим-уборной за дневник. Видимо, то же самое подумал и Ефим и решил на своем костыле приковылять ко мне. Увидел на моем столике разорванные листы – у меня никак не получалась история про лифт. Пробовал выразить свои впечатления от Жанны Моро – в Доме кино показали только что «Лифт на эшафот». Видимо, творческие муки настолько проступили на моем лбу, что Копелян сразу определил, чем я занят. Его очки сползли на краешек носа, и он тихо проронил с порога: «Ага... грибы и углеводы». Надо сказать, что эта странная копеляновская присказка, как я понимаю, могла относиться к чему угодно. Когда обсуждался новый спектакль и критики начинали делить на «положительных» и «отрицательных», Ефим хмурился – потому как последнее время попадал больше под «отрицательных». Их он и прозвал «грибами» (в том смысле, что ядовитые, жить не дают спокойно), а «положительных» – углеводами (значит, сытые, довольные собой, скучные). А однажды Копелян увидел из гардероба, как я заводил свой старенький 412-й «Москвич», а Кирилл Лавров садился в свою новенькую «Волгу». «Мм... грибы и углеводы» – послышалось из окна. У меня в арсенале тоже есть одна присказка – и тоже по кулинарной части. Правда, не такая емкая. На все, что не вовремя попадает под руки, кажется многословным и глупым, говорю: «Повидла». Ничего не поделаешь – прицепилось... Так вот, когда Копелян уселся на диван в моей грим-уборной, он констатировал: «Дневничок ведешь, ну-ну...» «Да какой там, Фима, дневничок... Так, повидла разная», – начал оправдываться я. «Не скромничай, не скромничай... Небось мысли посетили...» Копеляна обмануть было трудно – мне пришлось ту часть, где я описываю свой лифт, ему прочитать. Полстранички. «Хм... очень художественно... какая же это повидла?» И дальше последовал монолог, с которым, как мне кажется, он ко мне и пришел: «Я прочитал недавно в газете про одного английского яхтсмена, мореплавателя-одиночку. История странная. Он принял участие в гонке яхт, кругосветной гонке. Выяснилось, что его яхта достроена на скорую руку, халтурно и что выиграть у других яхт вряд ли сможет. А у этого мореплавателя – долги, ему выиграть во что бы то ни стало надо. И он решил это сделать обманным путем: переждать основную часть гонки где-то в океане, а потом в нужный момент появиться и финишировать первым. Рассчитал все заранее – стал писать «липовые» данные в бортжурнал, послал по радио сообщение, что больше не выйдет в эфир из-за неполадок в передатчике. Тебе, Олег, это ничего не напоминает?...» Я слушал с интересом, однако к чему Копелян клонит, пока не понимал. «Сейчас поймешь, – и он увлеченно продолжил рассказ: – Отсиживался в океане тот яхтсмен полгода. Ему слали запросы, он намеренно не отвечал. Через какое-то время, когда уже все финишировали, его яхту нашли пустой. Спасательный пояс лежал нетронутым. Обнаружили и

дневники, которые он стал вести в бортжурнале... (Копелян перехватил мой настороженный взгляд.) Записи свидетельствовали о том, что тот моряк был уже невменяем – там была абракадабра почище поприщинской. Я запомнил: «Только повелитель шахмат избавит нас от всевластия космических существ». Неплохо, правда?.. Он не выдержал напряжения, потому что был честный человек, хоть и с долгами. Свихнулся и бросился в воду».

Ефим затих – его взгляд как будто провожал в воду того несчастного мореплавателя. Я усмотрел в его рассказе намеки на свои дневники: «Если ты имеешь в виду, что я кончу так же, как этот сумасшедший, то, может быть, ты недалек от истины». Копелян мерно закачал головой, давая понять, что не обо мне речь: «Я про себя думаю. Всегда считал себя честным человеком, но... сколько приходилось врать! Дневник уже не заведу, с ума не сойду и в воду, как он, не брошусь... Хотя мой Свидригайлов «уехать в Америку» силы нашел... Представляешь, как он, этот моряк, ступал в воду и сливался с Мировым океаном! Спокойно, без суеты, в одиночестве – ведь ему от жизни уже ничего не нужно было».

Голос помрежа призвал Копеляна на сцену. «Ковель меня ждет, одноногого», – он уже хотел заковылять на своем костыле, но вдруг решил уточнить, как правильнее: «заковылять» или «заковелять»? Мы оба заржали.

С того дня прошел год. Он вчера умер. Лечили живот, а потом поняли, что болело сердце. Наша медицина...

Больше таких грибов – белых, без единой червоточинки – уже не будет.

Апрель, 11

Из жизни Ильи Ильича

Бой с Хотспером, главарем заговорщиков, дается все труднее⁵. Прихожу домой, показываю Алле те места, на которые сегодня приземлялся. Она определяет: царапина, гематома... и прикладывает медные пяточки.

Иногда мы со Стржельчиком закрываемся в грим-уборной и демонстрируем друг другу эти самые раны. Кто-нибудь из нас кается: это оттого, что не отступил вправо, или оттого, что не пригнул шею.

Я очень люблю в рассказе Анатолия Кузнецова «Артист миманса» то место, когда Илья Ильич (его только что сшиб в кулисе балетный премьер) заходит в душный туалет, запирается на задвижку, осторожно, чтобы не задеть рану, поднимает рубашку и... благоговейно ощупывает свои ребра. Всего себя перебирает по косточкам. Так же примерно ощупываем себя и мы со Стрижом – не сломали ли чего... Кости-то не молодые, не слоновые!

Мы деремся настоящим оружием – мечами с длинными клинками и кинжалами. В БДТ, в реквизиторском цехе, большой запас холодного оружия – еще со времен революции. Несколько раз клинки у нас ломались и летели в зал.

У Стржельчика есть коронный кувырок назад – он сам его предложил. Во время кувырка из его уст вырывается короткое междометие – как будто я подсекаю его в воздухе. Но в последнее время он стал к своему кульбиту прислушиваться. Спрашивает: «Тебе не показалось, что во время переворота довольно-таки странный треск раздается? Ты ничего не слышал?» Я делаю непроницаемое лицо: «Нет, Владик, треска никакого не было – тебе показалось...» Тем не менее он иногда стал меня предупреждать – сегодня кувырка не будет. По состоянию здоровья.

Бой редко получается таким, каким его поставил Черноземов. Кто-то из нас где-нибудь да «подгадит». Впрочем, значения особого это не имеет. Все равно к концу боя сходимся – он должен напороться на мой кинжал и повиснуть в моих объятиях.

«Генрих» – первая моя серьезная удача в БДТ. У артиста миманса Ильи Ильича тоже после полосы неудач – вдруг путевка по линии месткома. Совершенно бесплатная. О нем заговорили в театре, он стал героем. Глядя на него, восхищенные зрители вспоминали про

знаменитого мхатовского мима – он в «Ревизоре» в роли жандарма потрясал! «В жизни никогда не бывают одни несчастья. Неудачи, неудачи, потом – тррах! – удача, – говорили ему ободряюще. – Верно, это сделано специально, чтоб сравнивать...» Что ж, у меня и в самом деле есть с чем сравнивать. Накопилось.

Апрель, 17

Король и свита

Купил замечательную книгу Аникста о Шекспире. Называется «Ремесло драматурга». Нахожу очень точный разбор сцены, которая у нас с Лебедевым никогда не выходит. Речь идет об эпизоде, когда принц Гарри и Фальстаф репетируют встречу Гарри с отцом: я воображаю себя королем, а Фальстаф – принцем. Огромный издевательский монолог принца (приведу его в сокращенном виде) прерывается всего лишь одной репликой Фальстафа:

«Принц: Этот человек – целая кладовая всякого свинства. Чем он одарен, кроме умения пробовать херес? Чему научился, кроме пожирания каплунов? Чем он проявил себя, кроме обмана и подлости? Какие у него достоинства? Никаких. Какие пороки? Все решительно.

Фальстаф: Благоволите высказаться яснее: кого вы разумеете, ваше величество?»

Вот что по поводу этой сцены пишет Аникст: «Принц сказал правду о Фальстафе, но далеко не всю и не самую главную... Своей репликой Фальстаф сказал то, чего нет в словах молодого Генри, – что Фальстаф умен и юмор его обаятелен. И как это сделано – одним лишь будто ничего не значащим вопросом!»

Но Лебедев так и играет – как ничего не значащий вопрос. На все заслуженные и незаслуженные издеательства принца – реакции «кладовой всякого свинства», «склада свечного сала». Из всех сил играет тяжесть. А между тем интереснее было бы на самом деле не понять, о ком идет речь: о ком это вы, ваше величество? Всерьез. Отбросить на секунду все его Фальстафовы штампы, пробудиться ото сна, как струна вытянуться – ни живота нет, ни хереса! Легкий, новый Фальстаф! Изменчивый, а не однообразный. Сам Г.А. не раз просил на репетициях: «Поединок двух капитанов КВН». (Ассоциация странная, но важно, что связана с сегодняшним днем.) «Поединок, равный дуэли!», «Здесь утверждается разум!» – но тут же добавлял подушек в живот Лебедеву, и оттого его «разум» слабел на глазах.

Король Генрих V между тем становится мудрым, справедливым королем. И то, что прогнал Фальстафа и всю его свору, – правильно. У него замечательная сцена в третьей части хроники – накануне сражения с ирландцами. Он – переодетый – разговаривает со своими солдатами, желая передать им сознание долга перед Англией. Король-демократ! От шута, пропойцы уровня Фальстафа до сильного монарха. И наплевать, что принц Гарри остался в литературе благодаря дружбе с Фальстафом. Как говорил Товстоногов, «он вошел в историю как король Генрих V, но перестал быть характером, образом, шедевром искусства». По моему, так говорить несправедливо.

Я знаю еще, что одна из глав в «Бесах», посвященная Николаю Всеволодовичу Ставрогину, называется «Принц Гарри». Это сравнение с шекспировским принцем исходит от Степана Трофимовича Верховенского, он уверял мать Ставрогина, что это «только первые, буйные порывы слишком богатой организации, что море уляжется и что все это похоже на юность принца Гарри, кутившего с Фальстафом... Варвара Петровна... очень прислушалась, велела растолковать себе подробнее, сама взяла Шекспира и с *чрезвычайным вниманием* (курсив мой. – О.Б.) прочла бессмертную хронику. Но хроника ее не успокоила, да и сходства она не так много нашла».

Во всех случаях актер работает адвокатом, и его задача очистить любой образ от исторических штампов, от пыли. И заодно прекратить довольствоваться тем, что короля играет свита.

Июнь, 10

Крыльцо и Беретик

Память — удивительная вещь. Когда начинаешь в ней копаться, возникает чувство, будто ты слазил на антресоли. У меня очень длинные антресоли на Кабинетной и, по-видимому, такая же длинная память.

Чего в ней только нет — и мамин чемодан, с которым я приехал в Киев, и пустая корзина из-под белой сирени — ее на свадьбу подарил Хохлов, — и Юркина коляска, и ящички от чешского гарнитура — на него деньги одалживал Некрасов, — и чья-то брошенная перчатка. Спущенный мяч с автографом Базилевича, пустые иностранные бутылки, удочки... Все хлам, хлам...

Всем этим пахнуло по мере приближения к Бессарабке. Пахнуло, конечно, и малосольными огурчиками, капусткой... Ко мне тут же подбежал старичок с баночкой и предложил купить червей для рыбалки: «Вы знаете, що Бессарабки скоро не будэ? Ее порушать! Это ты грал Голохвастого и щупал тросточкой перинку той жабы? Давно я тэбе здесь не бачив — рокив дэсять, билыил? Бессарабка — це ж як чрево. Я слыхал, що и у Парижу е чрево...» «В Париже уже нет чрева», — ответил ему Стржельчик со знанием дела. Он прогуливался вместе со мной и, как будто собравшись на рыбалку, стал узнавать, почему черви. Я напомнил ему, что завтра у нас «Генрих» и я сам из него сделаю червя. (Умиравший Перси — Стржельчик произносит после боя: «Теперь ты, Перси, прах. Теперь ты нища...» «..для червей», — заканчиваю его мысль я, когда Перси лежит уже бездыханный.)

Все началось с чемодана. Прежде чем благословить меня на самостоятельную жизнь в Киеве, мама сочинила мне синий шевиотовый костюм (работала она в павильоне «Корма» на ВДНХ, а подрабатывала шитьем) и набила мой чемодан сухарями. «Ему королева мешок сухарей насушила» — это про меня. Больше за душой ничего. «Голохвостым» я и приехал в Киев.

Поселились прямо в театре: Лева Брянцев, Валя Николаева, Белла Шульмейстер, Женя Конюшков и Олег Борисов. На других этажах в театре жили Кирилл Лавров, Павел Луспекаев с женой Инной. В одной из грим-уборных жила еще Маша Сторожева — она не была ничем знаменита, играла во вспомогательном составе. Но на столе у нее лежала маленькая фотография 5x7 молодой, стройной девушки в большом берете (белокурые волосы были аккуратно под берет подобраны), в вязаном шарфике. Улыбка кроткая, притягивающая... (Сразу осенило: Настасья Филипповна и князь. Он держит в руках ее портрет... Нет, она не Настасья Филипповна, скорее Настенька из «Белых ночей», но удивительно то, что ассоциация петербургская! Как предзнаменование.) Я попросил Сторожеву, чтобы она познакомила меня с этим Беретиком. В ответ получил: «Даже и не думай. Это дочь бывшего директора Русской драмы, он еще в Театре Франко был директором. Алла только что поступила в Университет на журналистику, и Латынский с нее не слезет — будет требовать красного диплома. Он строгий!» «Разве это имеет значение, чья она дочь?» — не унимался я. «Имеет. — Маша стояла как стена. — Алла — моя подруга. Она очень рафинированная, не как все... — Маша немного помялась и наконец произнесла главное: — Если хочешь знать, она еще и недотрога...»

Недотрога — но от судьбы не уйдешь!.. Как-то Алла шла после занятий в Университете не по бульвару Шевченко, как обычно, а по улице Ленина. В окне театра увидела свою подругу Машу, которая тут же выбежала к ней на крыльцо.

Крыльцо Театра Леси Украинки! Это его актерский подъезд, его «причинное» место. Здесь подолгу засиживались зубры: Халатов, Розин, Балиев... Перебивали косточки, обсуждали футбольные матчи, цены на Бессарабке, рыбалку. Около них частенько крутился Шая — городской сумасшедший, продававший журналы. Особым спросом пользовались, как и сейчас, «Англия» и «Америка». Впрочем, и болгарская «Мода» тоже нарасхват. Но основное

кредо Шаи – таранка. И только для элиты. С заслуженным лицом, вечно небритый – лез ко всем целоваться. «Англию» для меня откладывал – до зарплаты, а потом брал «на чай» раза в два больше, чем с остальных. Шая был добрый и напоминал чеховского Мойсейку. Только вместо «Дай копеечку» слышалось: «Можно я тебя облобызаю, милый?»

Крыльцо пустовало только во время непогоды. Многие старались его обходить по другой стороне Пушкинской, чтобы, не дай бог, не попасться на глаза «старожилам» – они тогда замучили бы своей лаской. Алла тоже заблаговременно перешла на другую сторону (на нее бы набросились точно: как папа? как его драгоценное здоровье?), но, к ее удивлению, на крыльце никого не было. Выбежала ее подруга, они разговорились... Неожиданно Маша попросила Аллу подождать на крыльце, а сама рванула в театр, и ту комнату, где я спал. «Та девушка с фотографии, ты же просил! Она на крыльце...» «Каком крыльце?» – спросонья не разобрал я. И тут же, еще не отойдя ото сна, неумытый – три часа дня! – не успев надеть синий шевиотовый костюм, полетел вниз. Чуть было не напоролся на чемодан.

Всего, о чем говорили, уже не помню. Алла сказала, что фотографироваться не любит и не знает, как та фотография к Маше попала. Когда она закончила школу, просто решила посмотреть, что из нее получилось (!). В этот момент кто-то на крыльце появился, я застеснялся и попросил разрешения встретить Аллу Латынскую возле университета. Она улыбнулась и... ничего не ответила. На следующий день я стоял не прямо у входа, а, как потом рассказывала Алла, у каштана, чуть поодаль, повернувшись спиной к основному зданию. Помню, очень волновался и все время курил. В своем единственном пальто из черного драпа... Через некоторое время я был приглашен в ее дом. Будущая теща Л.Г. бросилась меня откармливать.

После было путешествие на старой «Победе» из Киева в Москву. Родители Аллы ехали знакомиться с моими. Жили они в Новобратцево – как когда-то я, – рядом с Окружной, в дряхленьком домике, похожем на барак.

Смотрины прошли хорошо. Мама только сделала одно замечание Латынскому, Аллиному отцу: «Зачем это вы на ночь «Голос Америки» слушали? Это очень нехорошая станция...»

...У меня закружилась голова, все это на меня нахлынуло – вместе с ароматами Бессарабки. Пробежало за секунду. Стрельчик уже купил все, что ему нужно, и направился к выходу. Его узнавали! Еще бы – такой Наполеон на Бессарабском рынке! Попросил меня прогуляться с ним по Пушкинской мимо театра, мимо крыльца... (Слава богу, гастролы проходили не в моем бывшем театре.) Я взмолился: Владик, не сейчас, в другой раз... Тут же, прямо на выходе с Бессарабки, наткнулся на Шаю и был зацелован. Мир тесен, особенно в Киеве.

Вечером собрались в гостинице «Москва». Провожали Аллу с Юрой. Они утром улетают в Питер, а я остаюсь доигрывать спектакли. Они должны сразу после аэропорта заехать в театр – забрать Ванечку (он теперь живет у нас дома, но на время гастролей мы оставляли его в театре) и нести документы в консерваторию. Юра поступает на отделение музыкальной режиссуры. Такой вот неожиданный поворот – я и не знал, что есть такое отделение. Эту идею подбросил Стрельчик – он там, в консерватории, оказывается, преподает.

Я еще раз предлагаю Юре попробовать на актерский, получаю отповедь: «Я твой путь повторить не смогу. Тем более еще и обезьяна – значит, буду перенимать все ужимки, все интонации. Нет, я уж лучше своей дорогой...»

«И в кого это он такой умный?» – спрашивает меня Стрельчик. Наверное, в Аллу. В Беретик.

Август, 4

Кое-что о свойствах моей памяти

Забрел в «Букинист» на Литейном... Что удивительно, даже завел знакомство. Узнали и сказали, что очень нравится «Генрих». Теперь хотят на «Три мешка», и я пообещал, что билеты занесу.

А вот результат знакомства – полное и первое посмертное Собрание Пушкина 1855 года. В кожаном зеленом переплете, издание П.В. Анненкова. Всего семь томов, а первый – «с приложением материалов для его биографии, портрета, снимков с его почерка и с его рисунков». Библиографическая редкость! Директор магазина пригласила заходить. Напоследок достала из «запасников» еще и Тютчева издания 1900 года.

Оказывается, до меня побывал Товстоногов и унес Полное собрание Мережковского. Жаль. Но, если кто-нибудь еще Мережковского сдаст, она для меня отложит.

Хочу обратить внимание на цены. За уникальное собрание Пушкина – всего 15 рр. За Тютчева – 10. Две бутылки.

Кто-то сказал: «Книги не только читать надо, но их иметь надо». Сушая правда. Одно дело Публичная библиотека, другое – когда ты в этой атмосфере варишься! Человек, собравший дома библиотеку и пусть даже не открывший всех книг, – счастливый человек. У Аркашки Счастливецва «пиес тридцать и с нотами», правда, по большей части водевили. А тот, у кого и драмы есть, – тот даже ходит, дышит по-другому, а главное – больше молчит. Он себе на уме.

Я завидую тем, у кого в доме мало мебели, а полки забиты книгами. Я завидую тем, кто в «45° по Фаренгейту» Брэдбери спасает книги от сожжения, выучивая их наизусть. К сожалению, фильм Трюффо получился иллюстративным. Проза Брэдбери жестче. Это притча, снимать ее нужно было как Евангелие от Матфея. Я не мог бы себя представить ходящим по лесу и механически зазубривающим, скажем, Диккенса. Хотя на память не жалуюсь – выучил бы. Тем более такого автора – одно удовольствие.

По долгу своей службы – очень зависимой – сталкиваюсь преимущественно с литературой, которую сжечь было б не грех.

У меня помимо основной библиотеки есть еще одна – из сделанных уже ролей. Из каждой роли я сооружаю тетрадку – как только начинаю репетировать. Это маленькие листочки наподобие календарных, я их сшиваю и переплетаю картоном. Потом фломастером жирно наношу название и их подписывает Г.А.

Немного о своей памяти. Надеюсь, это не будет выглядеть нескромно. Я играю Робеспьера в спектакле «Правду! Ничего, кроме правды!». Это такая маленькая роль, что мне разрешается – в порядке исключения – не дожидаться общих поклонов и после первого акта уходить домой. Конечно, разрешается «негласно», только на рядовых спектаклях. Но на тех, что приурочены к знаменательным датам, я должен слиться вместе со всеми. Однажды накануне одной из таких дат – годовщины Октябрьской революции – Кирилл Лавров с женой угодили в больницу. Отменить этот самый «обкомовский» из спектаклей – смерти подобно. Товстоногов вызывает меня... У меня на все про все только два дня!

Надо заметить, что роль у Лаврова немаленькая – шестьдесят страниц моего мелкого катастрофического почерка. Непрерывная болтовня, да еще с пафосом и из зрительного зала – так, что и подсказывать некому. Я переписал роль и начал учить с сыном. На него была вся надежда – у нас процесс зубрежки налажен еще с «Генриха», Юра за всех персонажей подает. Я «снял его с уроков», и мы заперлись на два дня.

В день спектакля меня колотило. Я должен был незаметно – уже после третьего звонка – пройти на свое место в партер. Неожиданно поклонники Лаврова (они очень любили этот спектакль) стали перешептываться: что-то не так! – а одна из них, сидевшая в соседнем ряду, аж в дугу изогнулась, чтоб заглянуть мне в лицо. Я ей тихо: «Ну не повезло тебе, не повезло – не Лавров я, дальше что?!» Она почему-то оскорбилась, замахала программкой, и через

некоторое время я слышал глухой демонстративный хлопок стулом – шшарк! «Хорошенькое начало», – подумал я и... приготовился к провалу.

Все прошло как во сне, особенно первый спектакль. Я был удостоен благодарности Товстоногова, который уже из ложи показал большой палец: «Какой высокий профессионализм, Олег!»

Весь текст, который я с такими муками в себя вложил, через четыре спектакля был с легкостью отдан назад. Больше я эту роль не играл, хотя, когда Лаврову нужно было сниматься в «Мещанах», меня попросили снова: «Выручи!» Но одно дело, когда человек в больнице, – в этом случае выручить – твой профессиональный долг. Быть мальчиком, подающим мячи, быть все время в запасе – тут уж мое почтение... увольте! Кажется, получился скандал (шкандаль – как сказала бы Проня Прокоповна⁶), говорили, что зазнался. Мне это всю жизнь говорили. Но я план по вводам перевыполнил. Как и раньше, играю своего Робеспьера и после первого акта, не дожидаясь поклонов, ухожу домой.

Между прочим, М.Ф. Романову избежать поклонов в его «любимом» спектакле «Рассвет над морем» не удавалось. Еще бы – он играл Котовского! Романов кланялся очень виновато, как будто складывал шею по частям. Ощущая неловкость перед зрителями, он вслух просил у них прощения: «Извините меня, дорогие, извините – пьеса такое дерьмо...» Кланялся и все извинялся.

Я подумываю о небольшой чтецкой программе. Хочется какой-нибудь отдушины. Выучу для начала несколько стихотворений Тютчева. И надо билеты занести в «Букинист» на «Три мешка». Может, еще что перепадет.

Октябрь, 25

Трагический артист

Каждый жест распадается на атомы.

Сначала рука долго лежит на пюпитре, на нотах. Как будто окаменев. Зал притих – ощущение мертвости. Он медленно окидывает оком тех, кто расположился на стульях. Их, с инструментами, он пригвоздил, закрепил болтами на время симфонии. Им послан некий заряд, и они уже сидят как на электрических стульях. Их головы неловко вскинуты – они, прижав инструменты, ждут поворота его головы.

Его правая рука отделяется от пюпитра.

Она взвесилась в душном пространстве филармонии.

Она сжалась в кулак.

Блеснули на левой руке два кольца, одно из них – на мизинце. (Что эти кольца значат?)

Неожиданный вздерг руки – как молния, сверкнувшая где-то рядом. Съежилась впереди сидящая дама (не с Кировского ли завода? На афишах филармонии с удивлением обнаружил такой абонемент: «Для трудящихся Кировского завода». Совсем на шею сели).

Описываю начало симфонии № 5 Шостаковича по кадрам. Как это запомнилось мне. В музыке я дилетант. Ничего не смогу сказать про эту симфонию. Кроме того, что в первой части унесся в свое детство ободранное. Я прицепился к последнему вагону, несшемуся из Алма-Аты в Чимкент. Эвакуация. Мы живем в маленьком театре, рядом со сценой. Под сценой тоже кто-то живет... У меня от вшей поднялась температура – до сорока. Стою голый на скамейке, а мать кидает в буржуйку все мои вещи, одежду. Плачет Лева, младший брат. Вши трещат в огне... И как воровал, вспомнил. Я не был карманником, у меня был другой «профиль» – огороды. Любил бить пионеров – и за то, что сыты, и так – ни за что... Заиграл какой-то «стеклянный» инструмент (я потом узнал – челеста!), Мравинский приложил к губам указательный палец и как-то весь «вжался» в себя. Мои видения вместе с челестой улетучились.

В образовавшейся паузе зал кашлял. Кашляющий город, особенно в эту пору – осенью. Мравинский поморщился – ждал, чтобы зал затих. Здесь, в филармонии, кашляют, когда в музыке пауза, у нас в театре – когда придется. Редко кто додумается выкашляться в коридоре.

Во второй части возник Петербург, со связками бубликов. Невская перспектива – такая, какой я ее не знаю, еще до того, как сюда пришел Человек с булыжником. Такая, какой ее описывает Осип в «Ревизоре»: «... жизнь тонкая, политичная: кеатры, собаки тебе танцуют». Музыка и в самом деле приплясывает. Вообще, это гоголевский Невский. А Мрав (Юра его так ласково называет), как квартальный надзиратель: кажется, сейчас заговорит: «А подойди сюда, любезный!» – и схватит за воротник.

В медленной части возникла сцена, свидетелем которой был сам. Под Ярославлем взрывали церквушку. Портрет моей мамы. Она привела меня смотреть на это. Мне было шесть лет. Мама говорит: «Не знаю, правильно ли, что рушат, но на этом месте будет много новых квартир, школа!» Тут же портрет моей бабуся – плачущей, шепчущей молитву. Она не выдерживает, берет меня за руку, уводит.

В финале – круговерт, будто крутят кино. Ты в положении догоняющего. Перед глазами – футбол. Играют не двадцать два человека, а все действующие лица из твоей жизни: из БДТ, из Русской драмы, со Студии Довженко, из Школы-студии, из Театра Пушкина... Куча мала.

Почему-то еще возникла новелла Феллини, в которой маленькая девочка играет сначала мячом, а потом натягивает на пустой дороге стальную струну. Мчащемуся на скорости автомобилисту отсекает струной голову. Девочка – замаскированный чертик. Наигравшись мячом, она будет играть... головой того автомобилиста. Из всего фильма запомнился только этот финал – но «всплыл» он именно сейчас, на Шостаковиче!

В самом конце – марш! Маршируют счастливые советские люди, их улыбки. Шествие возглавляет Любовь Орлова, я почему-то за ней. Ударник заколачивает гвозди в чье-то распятие... Такое пробежало кино.

Мравинский поднимает партитуру над собой. Этот его концерт посвящен памяти Шостаковича – он умер всего два месяца назад. И так получилось, что это первый концерт, когда я услышал Мравинского.

В перерыве делюсь своими ассоциациями с Юрой, предупреждая, что они субъективны – как сон, как поток сознания. Он со многим соглашается. Например, с футболом. Говорит, Шостакович был заядлым болельщиком: знал всех ленинградских хавбеков, инсайдов поименно. К нам подходит один из Юриных педагогов, консерваторских. Мы знакомимся. Он рассказывает, как негодовал один ленинградский «коверный», когда увидел программу этого концерта. Ему казалось, что сегодня должна звучать музыка одного лишь Шостаковича, а Мрав зачем-то заканчивает «Патетической» Чайковского.

После исполнения последней симфонии Чайковского я понял, как мне кажется, замысел Мравинского. Он соединяет Шостаковича со всей мировой культурой, поднимает его до самой недоступной высоты и открывает нам этот космос. Диапазон вселенной, показанный Мравинским, нельзя измерить. Можно лишь попытаться угадать его идею. (Повторяю: попытаться.) Мне кажется, она проста: музыка есть Бог, такие фигуры, как Чайковский, Шостакович, появляются, чтобы пробудить эту музыку в нас. Когда на этой земле их миссия заканчивается и в нас им ничего пробудить не удастся, Бог забирает их к себе. По сути, эти гении равны, потому что являются частичками Бога. Мы ведь тоже его частички, его молекулы – только бледные... С сожалением думаешь о своей серости, о том, какая потеря в моей жизни – хорошая музыка. Все упущено... зачем бросил скрипку? Думаю, что моя миссия выполняется лишь на сотую долю того, что могу. А есть ли вообще какая-нибудь моя миссия? Если есть, то почему столько кочек, кто написал *там* такой неудачный, сумбурный сценарий? Почему концы с концами не сходятся? Как было бы хорошо, если бы этот сцена-

рий начинался так: Albert Borisoff (тут бы пригодилось мое настоящее имя) родился в XIX веке, в имении под Парижем...

Что больше всего привлекает в фигуре Евгения Мравинского? – думал я, возвращаясь с сыном домой. Метод работы? Но я о нем ничего не знаю, хотя, как кажется мне, чувствую его. Для меня ясно, например, что он не сторонник импровизаций на концертах – слишком уж крепко все сколочено...

В ушах стоит гул контрабасов в конце грандиозного плача, который написал Чайковский. Контрабасы режут, а чья-то душа несется по тоннелю, ей до нас уже нет дела... Тут я понимаю, что это мог передать только грандиозный трагический артист. Мравинский – единственный из таких артистов, которые творят еще на земле. Остальные – по ту сторону тоннеля.

Декабрь, 18

Когда-то Константин Павлович Хохлов, разговорившись со мной, посоветовал применить такой метод: каждая репетиция должна быть чуточку лучше предыдущей. Роль должна расти от репетиции к репетиции – несмотря ни на что! Не позволять себе расслабляться, ждать вдохновения, пробалтывать текст, реагировать на то, как репетирует партнер. То есть, как спортсмену, выстроить график тренировок и по нему работать. «Курочка по зернышку. Это научит тебя быть расчетливым профессионалом», – заключил Хохлов.

Сказано это было в Киеве, и тогда мне показалось утопией. Уж слишком прописные истины он говорил. И как утренняя репетиция могла пройти лучше той, что была накануне, если спать не ложились до трех-четырех утра (если вообще ложились)? Если кипела кровь и все роли большей частью делались «аврально»? И как тогда быть с известным чеховским афоризмом (его любил хитро повторять киевский артист Виктор Халатов): «Все последующее хуже предыдущего»?.. Репетируешь, репетируешь, а результат, значит, все хуже?

Теперь-то я понимаю, что Чехов мог себе позволить сказать такое. Сказать – и пойти, скажем, на вскрытие трупа. Я увидел его стол в Ялте – не парадный, приготовленный к осмотру экскурсантов вид, а каким он был в один из его рабочих дней. Мне показала сотрудница музея груды шприцев, разбросанных по столу. «Люблю смотреть, как человек умирает. Жутко, а так хочется заглянуть...»

Пусть это покажется утопией, но я хочу применить метод Хохлова на репетициях «Дачников». Почему бы мне и в самом деле не стать «расчетливым профессионалом»?

Декабрь, 21

...Каждая роль – маленькая модель жизни. Когда никчемной, глупой, а когда и достойной.

Все начинается с барахтанья на воде – пока не научишься плавать. Меня отец вывез на лодке до середины Волги и выбросил за борт, как щенка – плыви как знаешь... Я из воды долго не появлялся. Потом высунулась фыркающая физиономия, начались короткие, истеричные взмахи рук... Мне было четыре года.

Дальше – отбор. Анализ первых ошибок, первые болезни – еще не такие страшные: например, ипохондрия, бессонница... Это самый долгий этап, здесь многие – даже выносливые – ломают себе шею.

Когда наконец проешь себе плешь, можешь рассчитывать на первые успехи. Алла впервые заговорила о том, что надо лечить наметившуюся лысину, во время съемок «Гарина». Хотела мазать ее корнем лопуха, но я не дался! «Это хорошо, что у вас появилась плешь, – поддержал меня Товстоногов. – Посмотрите, какая у меня! Это действительно хороший признак. Вы не читали еще «Лысую певицу» Ионеско?.. Лысина – это как космодром, который нужен, чтоб получать из космоса энергию».

Значит, я созрел уже для чего-нибудь космического, Георгий Александрович!

1976 год

Февраль, 17

«Комариха»

Согласился на творческий вечер и уехал на два дня заработать деньги. Уже начались репетиции «Дачников», я к выходному, законному, попросил еще день. Отпустили. Я редко соглашаюсь на такие мероприятия: чтецких программ нет, роликов из фильмов тоже нет (режиссеры все обещают, но не делают), выходишь на сцену и... что им сказать?

Аудитория провинциальная, благодарная. Слушают затаив дыхание, некоторые стоя. Ждут от меня чуда.

Я им поведал всю свою жизнь. Минут за восемь-десять. Халтура, стыдно. Что у меня еще есть в запасе? – монолог Голохвостого... На всякий случай разрешил задавать вопросы. На мое счастье, одна зрительница тут же откликнулась. Подняла руку:

– Простите, если мой вопрос покажется вам странным. Я бы хотела знать, все ли в природе вам кажется совершенным? Все ли распределено по справедливости?

Такого вопроса я на своем вечере не ждал. Пожал плечами, ответил невнятно:

– Я не Спиноза какой-нибудь, не знаю... Наверное, все по справедливости.

Как и следовало предположить, ее мой ответ не устроил:

– Подумайте, Олег Иванович. Разве вам не кажется, что количество плохих режиссеров превышает количество хороших, и превышает сильно, и что это вредит вашей профессии?

– Вы собираете какой-то компромат, пишете научный труд?

– Все для себя... для самосовершенствования. – Она с чувством превосходства оглядела зал. – Все-таки, Олег Иванович, постарайтесь ответить на мой вопрос: все ли гармонично в природе? Меня это страшно занимает...

– Попробую удовлетворить ваше любопытство. Сейчас мы репетируем горьковских «Дачников». У одного персонажа, Шалимова, есть замечательная реплика: «Природа прекрасна, но зачем существуют комары?» Я тоже ужасно не люблю, когда меня жрут эти твари. На даче, в Комарове, в июне невозможно находиться. Недавно еще прочитал, что больше всех пристают комарихи...

Сначала на ее лице появилась настороженность, потом довольно неопределенная, кривоватая улыбка – в половину рта. Эта улыбка на ее лице так и застыла. Я ощущал неловкость – ведь сам же просил задавать вопросы, – а тут еще меня озарило: да это ж Мария Львовна из «Дачников»! Ведь ее же – так, как и всех революционеров, – мучит вопрос, правильно ли все поделено, равномерно?

Подойти к ней после выступления я не смог – меня сразу окружила толпа, а режиссер из местного театра признался, что потрясен сценой с «комарихой».

– Олег Иванович, я сейчас думаю о каком-нибудь веселом спектакле про сумасшедших, пьеску подыскиваю. Хотел бы использовать ваш диалог...

– Как использовать? – не понял я. – Где вы найдете актрису на эту роль? Так, как она, не сыграешь!

– Актрису на эту сумасшедшую? Пруд пруди таких типажей у меня...

– Какая ж она сумасшедшая? Она в здравом уме, уверяю вас. Задает вопросы, которые ее беспокоят, только и всего. Зачем ярлыки вешать... Это очень серьезная, «идейная» женщина. Вы бы лучше, чем искать про сумасшедших, поставили б «Дачников». Давно читали?

– Давно, признаться... Мне как-то в голову...

– А вот прочтите глазами Марьи Львовны... Если б я играл в шекспировские времена и была бы тогда такая пьеска, я попросил бы у режиссера сыграть Марию Львовну. Seriously!

Замазал бы передние зубы – она сама признается: «Зубы вставлены... три зуба!.. несчастная я баба!» Мне кажется, я понимаю природу, механизм возникновения этой идейности. Мой Суслов так и говорит: «Нужно, чтобы она чаще была беременной». Может, тогда б и революция миновала...

...Уже месяца два прошло с того вечера. Я про него, естественно, забыл. Она напомнила. Написала мне, что открыла для себя еще одно в природе несовершенство – нервы в зубах! И еще узнала, что режиссер их местного театра объявил постановку «Дачников».

Апрель, 24

Как «вырубить» Лебедева

По мере приближения прогонов – то есть когда натянули тюль, натянули костюмы, – возникло ощущение тараканьих бегов. Как у Булгакова. Бежит полчище «дачных» тараканов.

Как всегда, особые отношения с Лебедевым. (Играет моего дядюшку.) Лезет целоваться, хотя его никто не просит. Говорит, что это ему нужно «для разогрева». Я вспоминаю чеховский этюд о Даргомыжском, который терпеть не мог, чтобы к нему «приставали» лица непрекрасного пола. Достаточно было кому-то чмокнуть в щеку, как он начинал браниться и вытирать рукавом место поцелуя. Рассказываю это Лебедеву, он клянется, что больше «липнуть» не будет. Но тут же его рука опускается на мое колено... Я придумал замечательный способ его «вырубить». Вернее, само придумалось. Я бью со всей силой ребром своей ладони по его руке – попадаю чуть выше запястья. Получается органично: он взвизгивает от неожиданности. Держит руку в подвешенном состоянии, кисть болтается. «Я же тебя предупреждал, Женя...» Поскольку это в характере Суслова¹, предлагаю Либуркину мизансцену закрепить. Лебедев клятвенно обещает, что теперь будет садиться на скамеечку на почтительном расстоянии.

Июль, 10

Матильда

Первый раз попробовали пробраться к нашему домику прошлой весной. Это ленинградский обком выделяет каждому немного земли за определенные заслуги. Дали ключи и адрес: Комарово, дача № 19, дальше спросите. (Это как раз на границе между Комарово и Репино.) Спросить было не у кого. По всем описаниям должна уже быть дача сказочницы Н.Н. Кошеверовой, за ней дача И.Е. Хейфица и до нас еще один перекресток. Но высокие сугробы преградили путь. Если бы знать, что снег в этих местах лежит так долго, взяли б лопату у дворников. Толкали машину и, измученные, вернулись в город.

Летом совсем другая картина. Наш домик, оказывается, самый последний в поселке – дальше лес, можно голыми пятками ходить по грибам. Кошеверова их определила как желтые лесные шампиньоны. Алла грибочки замариновала – будет на зиму.

С нами вся наша живность. Старуха-сибирячка Машка. Сколько ей, в точности не определишь, но по человеческому исчислению – лет восемьдесят, не меньше. Так что Машкой ее называть негоже. Юра кличет ее Матильдой Феликсовной, а она ему – коготки!!

Когда-то Р.С., мой тесть, работал на территории Кремля в Дирекции фестивалей искусств. Родители Аллы переехали в Москву раньше нас. Мы собрались за ними, но Юрий Александрович Завадский в свой театр не взял. Поработал я у Равенских в Театре Пушкина полгода, поскитался и... убежал из Москвы к Товстоногову. Так мы разъехались. Стали ездить друг к другу в гости, а однажды Л.Г., моя теща, привезла нам кошку с тремя котятками.

Эта кошка нашлась самым необыкновенным образом. Р.С. оставлял свою «Волгу» на Манежной площади, на стоянке. Как-то он возвращался с работы, открыл дверцу – и в салон прыгнула не то кошка, не то тигрица с потрепанными мохнатыми штанишками, потер-

лась об щеку и уселась у заднего стекла. «Кисуха-несуха!» – поприветствовал ее Р.С. и увез домой, на Смоленский бульвар. (Животных он любил: до Машки у него были макака и лиса, несколько собак: особенно известен в Киеве был дог Томми, который знал два языка – немецкий и русский – и снимался в «Зигмунде Колоссовском». Он охотно встречал гостей и снимал с них шляпы. Подходил сзади, опирался передними лапами о позвоночник гостя, тот падал в обморок от неожиданности, но, прежде чем тот упадет, Томми успевал шляпу стащить.) А вот теперь Машка, голубая кровь! Покинула Кремль в знак протеста... Впрочем, у Латынских пожила недолго. У Аллиного брата здесь же, на Смоленском, родилась дочь – очаровательная Наташа, и ее родители порешили, что грудной ребенок несовместим с беременной кошкой.

Машка уже девять лет украшает нашу жизнь. Сопровождает, куда бы мы ни тронулись. На некоторых вещах оставлены неизгладимые, несмываемые отпечатки – например, на моем английском красном свитере. Вся синяя мягкая мебель на Кабинетной превратилась в букле, но она продолжает ее «месить». (Это самое точное определение кошачьих действий в момент экстаза – заимствую у Хемингуэя.) Она не подпустит к себе, когда ее душеньке неуютно. Зато если у тебя выкроится часок отдохнуть перед спектаклем, она снизойдет и сама явится, «замесит» твой плед и уляжется на грудь. Я люблю поспать на спине, поэтому наши желания часто совпадают. Для меня это хороший знак – значит, спектакль вечером пройдет хорошо.

Ее штанишки приковывают внимание каждого, кто появляется у нас в доме (всех, кроме одной журналистки, но это грустная тема). Все отмечают необыкновенный их начес. Каждое утро она придает им лоснящийся розоватый блеск, вылизывая их с необыкновенным усердием, установив одну лапу, как шлагбаум. Во всем строгость. Когда пьет из миски молоко, усы и личико умудряется сохранить чистыми. И когда проходит мимо знатных гостей – поступь королевская.

Все было бы хорошо, если бы не характер. Частенько рвется на свободу, особенно по весне. За это получила прозвище Матильда. А когда дунула через открытое окно красного «жигуленка» в особняк Кшесинской и мы вызывали ее оттуда битый час, к Матильде добавилось отчество: Феликсовна (как у самой Кшесинской).

Теперь здесь, в Комарове, у нее свободы хоть отбавляй. Ванечка от хозяина не отойдет – свою свободу он приобрел раньше и за другую цену, – а вот М.Ф. дня на три может уйти в загул.

Не могу сказать, что такое же ощущение свободы дано мне. Мешает отсутствие забора. (Забор для советского человека – неотъемлемая часть его душевного комфорта.) Домик финский, чуждый, двое соседей, одна на всех кухня. Алена повесила занавесочки, но это от любопытных глаз не спасает. И все не твое – государственное, – это главное неудобство. Возьмут да отымут. А я хочу, чтобы в стропилах гулял ветер, чтобы рядом с домом большое гумно и можно было – как когда-то в детстве – в нем «отсидеться». Погреб для картошки, банька с веничком... И чтоб забор – не редкий, не плетеный, не как тын, а высоченный, без единой щели, с колючей проволокой. Когда это будет...

Машки уже несколько дней нет. Надо скоро уезжать в Киев, волнуется Алла.

Наконец приходит наша старушка – еле живая. Волочит лапы из последних сил. Алла ее уложила, начала отхаживать. Не ест.

Повезли в город – ей требуются уколы. Врач говорит, что, скорее всего, съела отравленную мышь. Моча черная. Ванечка лижет ей ушки.

Алла уходит в аптеку, чтобы купить лекарств. А она умирает, не дождавшись ее. У меня на руках.

Мы положили ее в коробку из-под итальянской обуви, отвезли в Комарово и недалеко от дачи, в лесу закопали. Сверху положили камешек. Может, в том мире, где другое летоисчисление, она не будет на нас в обиде.

Собираем с ковра то, что осталось от ее штанишек.

Вчера, когда собирались с Ванечкой на прогулку, сказали ему: «Пойдем проведем нашу Машку, нашу Матильдочку...» И он побежал к ее могилке.

Июль-август

Крестный отец

Снова приехали на Украину. Отдыхать сюда тянет. Завтра уедем на дачу, на Козинку, а сегодня гуляем с Юрой по городу. Спустились к Днепру и решили проехать на пароходике.

Стаскивают с кнехта намотанный восьмеркой канат. Отчаливаем. Когда-то мы также прогуливались с Виктором Платоновичем. Первый раз он дожидался меня на крыльце Русской драмы. Я играл «В поисках радости». Он сказал: «Смотрю уже несколько ваших спектаклей (Некрасов видел еще Петра в «Последних»), мне кажется, я нашел исполнителя для своего Ерошика. Вы наверняка не читали мою повесть «В родном городе»? Вот...» – и протянул мне маленькую книжицу, вышедшую в Военном издательстве. Я прочитал быстро, мы через два дня снова встретились. «Предлагаю прогуляться, – решительно начал он. – Может, поедem на Байковое?» Я был удивлен и по глупости от посещения кладбища отказался. Некрасов тут же предложил другой маршрут: «Наверное, вы правы, для знакомства лучше выбрать что-нибудь привычное». И мы отправились на Андреевский спуск. «Знаете, Олег, я ведь закончил здешнюю театральную студию, при Русской драме. Нам было предложено остаться в театре, но хотелось-то всем во МХАТ! Вы у кого закончили?.. У Герасимова? А знаете, что я пробовал к самому Станиславскому? Провалился и во МХАТе, и в его студии. Приезжаю в Киев и узнаю, что за «измену» родному театру из труппы отчислен. Запомните, Олег, в Киеве это случается со всяким, кто захочет повыше прыгнуть. Киев очень мстительный. Музыкантам, танцорам разным – им легче, у них со словом не связано. Хотя ведь и Лифарь, и Горовиц – все отсюда деру дали...» (Некрасовские слова я пропустил мимо ушей. Вспомнил их только в 1962 году, когда случилось то, о чем он предупреждал.) Мы дошли до заветного булыжника. Уже видна Андреевская церковь, Растрелли – скоро здесь будут сниматься «За двумя зайцами», но еще не сейчас – через три года!.. А сейчас Некрасов покупает мне пирожки с мясом, поджаренные на сале, мимо них пройти немислимо, от них стоит не запах – чад! Угощает меня и себя. Жуя пирожки, начинаем спуск. «Я вам, Олег, дам еще «В окопах Сталинграда» почитать...» – «Я слышал об этой книге, мне стыдно, но я...» – «Тут нет ничего стыдного, вы ведь еще не всего Толстого читали, Лескова? А Некрасов – не такая уж и большая литература... Но, знаете, как меня долбали за эти «Окопы»? Сталинская премия – это все потом. Дважды обсуждали в Союзе писателей – специальное заседание президиума и еще отдельно – военные! Реализм на подножном корму, окопная правда – чего только на меня не вешали!.. «Объясните мне, товарищ Некрасов...», – прицепился ко мне один из военной комиссии, который никогда на фронте-то не был. Что ему Киев, он сдал ее сразу, мать городов русских... Как назло, мы с ним надрались, это он меня подпоил – видимо, получил задание... Ну и прилип: «Объясни мне, где у тебя в книге перелом в войне показан?» Я снял рубашку и тычу ему. «Вот перелом, вот перелом... (Некрасовское тело я видел потом – на нем живого места не было.) Покажи теперь хоть один перелом у себя!» Он как будто не слышит, наливает. «Объясни, – говорит, – почему у тебя все с точки зрения ближнего боя?..» Ну, мне надоело... Я как раз в то время чеховские дневнички почитывал и ответил ему, чуть-чуть перефразировав Антон Палыча: «Каждый, кто берет мою книжку, хочет, чтобы она ему что-нибудь объяснила, а я тебе так скажу: некогда мне возиться со всякой сволочью». А! Вот гениально... Олег, а ты бы сыграл Николку Турбина?» (Переход на «ты» был совершенно нормальный, ведь разница в возрасте у нас – двадцать лет.) Мы остановились у дома 13. Остановились в благоговении. «Может, зайдем? – предлагает Некрасов. – Я тут был всего дважды... Дама, которая мне в первый раз открыла, сильно удивилась: «Мишка Булгаков –

знаменитый писатель? С каких это пор? Венеролог был хреновый, а писатель стал замечательный...» Ну что, может, постучимся?» Мы прошли во дворик, поднялись по лестнице, постучали. Никто не открыл. Хотя, как мне показалось, чьи-то шаги за дверью зашаркали, а потом тут же замолкли. Мы немного постояли и спустились обратно. Совершенно неожиданно Платоныч хрипло замычал:

Буль-буль-буль, бутылочка
Казенного вина!..

«Извини, – говорит, – я певец сиплый. Больше за сценой. На экзаменах в театральную студию пел только «Индийского гостя» и «Надднепрянский полк ударный»... так что помогай!» Но я ни мотива, ни слов не знаю. «Тогда, – говорит, – давай другой Николкин романс. Из начала третьего действия. Знаешь?» И замычал уже более знакомое:

Дышала ночь восторгом сладострастья,
Неясных дум и трепета полна...

Я подхватил, но все равно – ни в склад ни в лад. «Олег, надо учиться петь на улице. Перевернутая шапка, гитара... Ты на чем еще можешь, кроме гитары?» «Могу на баяне», – отвечаю я. «Очень хорошо. Мы все равно рано или поздно уедем из этой долбаной страны. А там ведь с работой худо... Ваня, один из булгаковских братьев, между прочим, сейчас в балаечном ансамбле в Париже... Да и здесь не ровен час можем, милый друг Олег, оказаться на паперти. Ты меня подкармливать будешь. Обещаешь?» Мы подходили к Подолу. «Это Контрактовая площадь, – говорит Некрасов. – Когда-то здесь продавалось много тарани и моченых яблочек. Отличная закуска, между прочим... – И неожиданно, в повелительном тоне: – Будешь петь?» Я, конечно, не сразу понял: «Где? Здесь?.. Нет, Виктор Платонович, здесь не смогу. Да и гитары нет. Дома, в театре – извольте...» – «Ловлю тебя на слове, будешь петь у меня дома». Действительно, пел я ему не раз. В его квартирке, в Пассаже, где он жил со своей мамой. Сначала был неизменный борщ, под борщ – водочка, потом песни. Репертуарчик у меня хиленький – четыре-пять песен и столько же модуляций. Из той надписи, что он оставил на сборнике «Вася Конаков», ясно, что произвело на него самое сильное впечатление: «Дорогой Олег! Это за Сережку с Малой Бронной и Витьку с Моховой. Декабрь, 1961». А тогда, после трехчасовой прогулки, Некрасов наконец сообщил мне главное: «Если тебе нравится моя повесть, то ты поедешь на «Ленфильм», на кинопробы. К режиссеру Владимиру Венгерову». Сказано это было на маленьком пароходике, который должен был прокатить нас до Осокорков.

Значит, кино! Я не думал тогда, что свою повесть Некрасов дал мне читать с этим прицелом. У меня ведь с кино отношения были натянутые. Сыграл три роли. Дебют – у М. Донского, в экранизации горьковской «Матери». Роль называлась «лудильщик-паяльщик», но предыстория у этой роли замечательная. Одна женщина-режиссер пригласила сниматься в фильме «Концерт». Собственно, роли никакой, почти как групповка – сидеть в зале и выразительно слушать. Нас приодели, приукрасили (над моим гримом трудились дольше всех), посадили в ложу. Съемка затягивается, эта женщина-режиссер долго смотрит в сторону ложи, нервно покуливает. Потом подходит ее ассистент и, ничего не объясняя, просит меня одного пересесть в задние ряды. После съемки передо мной вежливо извиняются и дают совет на будущее: «Понимаете, нам кажется, что в кино вы сниматься никогда не сможете. Это ошибка нашего ассистента по актерам. У вас лицо какое-то нетипичное. Если будут в кино звать – лучше сразу отказывайтесь, потому что потом, после проб, все равно не утвердят». Но Марк Донской утвердил – и первая роль все-таки состоялась. 1955 год!

Еще я сыграл эпизод в «Главном проспекте» и какую-то ерунду в фильме «Когда поют соловьи» – все на Студии Довженко. Поэтому более всего радовало в предложении Некрасова что – Ленинград, «Ленфильм»... С Ленинградом тогда связывалось все самое справедливое и светлое. Когда в театр приехал ленинградский режиссер В. Эренберг, он сразу назначил меня на роль Андрея в розовском «Добром часе», и лед тронулся. Свои, киевские, до приезда Эренберга уже распределили роли... между собой. Мне тогда один умный человек посоветовал: «Меняй фамилию, пока не поздно, а то все прошляпишь. Не Борисов тут нужен, а Борысэнка!»

Когда я приехал в Ленинград, Некрасов уже ждал меня. Я не мог скрыть своей радости: «Вечером это нужно отметить, это действительно большое событие в твоей жизни. Надо только, чтобы ты понравился Венгерову, а то Кешу Смоктуновского они не утвердили». – «А что, Смоктуновский на мою роль?» – «Нет, на Митясова... Так вот, я предлагаю сейчас сходить в Елисей и купить все на вечер. А потом немножечко походить по городу». «Немножечко походить» растянулось на целый день. Начал Некрасов с пластиночного магазина. Он попросил девушку-продавщицу поставить ему «Симфонию № 5, сочинение 64 минорного великого русского композитора Петра Ильича Чайковского (он сказал это пренебрежительным голосом диктора, который обычно так объявляет в концерте), только один небольшой фрагмент из *Andante cantabile*». Продавщица была с ним подчеркнуто вежлива. Я подумал, что, если б на его месте находился я, она б наверняка начала хамить: «Чего это вы вздумали в магазине слушать? Если берете, так берите и слушайте дома...» Но нужно учитывать два важных обстоятельства: во-первых, я не в Киеве, а, во-вторых, разговаривает она не со мной, а с Некрасовым, потомственным дворянином, на котором есть печать чего-то завораживающего, от которого свет исходит, почти сияние, особенно это заметно сейчас, когда он закрыл глаза и погрузился в музыку «Вот это место... Точно вскрик. Правда? В финале будет не так. Та же мелодия, но не так. Вы любите Пятую?» Я (задумчиво): «Люблю». Некрасов: «Я тоже. Сейчас вальс будет. Давайте помолчим». И мы на какое-то время замираем. Я гляжу в окно магазина: там Невский, все не ярко-зелено-каштановое, а молчаливое и строгое – совершенно другая цивилизация... Платоныч вдруг начинает посмеиваться: «А ты знаешь, что мы сейчас разыграли сцену из моего «Сталинграда»? Я говорил, как будто я Фарбер, а ты как будто Керженцев. Я люблю делать такие эксперименты: правда, хорошо получилось?» У меня в голове все смешалось: *Andante cantabile*, оставленные дома Алена и годовалый сын, мой крестный отец Некрасов, который, как слепого котенка, погружает меня в мировую культуру. Заходим в первую же рюмочную, выпиваем за Петербург. (Некрасов это подчеркивает: «Когда-то здесь был совершенно другой город!») Идем дальше – в направлении Коломны. «Я очень люблю этот район... Позвольте спросить вас, молодой человек, читали ли вы «Домик в Коломне» великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина?» (Снова такой же неприятный дикторский голосок.) Я помнил несколько строк, потому что хотел эту поэму подготовить к вступительным к Школу-студию (хорошо, вовремя отговорили, потому что поэма чрезвычайно трудна для чтения):

Фигурально иль буквально: всей семьей,
От ямщика до первого поэта,
Мы все поем уныло... Грустный вой,
Песнь русская. Известная примета!

Мы шли уже по Сенной, и Некрасов вдруг остановился как вкопанный. Он вообще имел привычку идти и вдруг ни с того ни с сего встать посреди дороги. «А ведь точнее и не скажешь... унылая нация. Достоевский говорил, что вторичная. Вторичная – да еще и унылая!.. А сама ситуация у гусарика у этого!.. бррр!.. Пробираешься в дом к своей любовнице

под видом кухарки – унижение-то какое! – да тебя еще застанут не в постели, а во время бриться! Я бы врагу не пожелал. Хотя и у Чертокуцкого² ситуация не лучше. Назвал в свой дом гостей, проспал, а потом спрятался в коляску, когда они все заявились... И вот он сидит, изогнувшись, притихший, в этой самой колымаге и видит через фартук, как они к нему подбираются, отстегивают кожу... Боже, в окопах и то не такой ужас...» Мы заходим еще в одну рюмочную и выпиваем «светлую память Пифагора Пифагоровича Чертокуцкого». Останавливаемся на Кокушкином мосту. (Маленький пешеходный мостик через канал Грибоедова.) «Если хотите, милый Олег, чтобы у вас хорошо завтра прошла проба, мой вам совет: прислонитесь спиной к этому граниту, загадайте желание и постойте... говорят, помогает. Помните пушкинское приложение к «Альманаху»:

Вот перешедши мост Кокушкин,
Опершись ж...й о гранит...

Я тогда ничего подобного не слышал и попросил Некрасова вспомнить что-нибудь еще. «Это ты будешь Венгерова просить, он всего Пушкина знает. Сам был свидетелем, как он половину «Онегина» наизусть читал...»

Вечером мы сидели в гостинице, и я случайно назвал Некрасова своим «гроссфатером». Он сначала удивился, потом снисходительно поморщился: «Ну, уже и гроссфатер. Старый дед, значит. У нас хоть и есть разница в возрасте, но я тебе, дружище Олег, только в отцы. И потом какой из меня немец, меня чаще итальянцем называют...» Некрасов действительно очень похож на какого-то итальянского артиста, кажется, на Тото из пазолиниевских «Птиц больших и малых». И он так же, как и Тото своего Нинетто, учит меня жить. Однако мне тоже хочется показать образованность, и я начинаю рассказывать про княгиню Волконскую, которая преподавала нам манеры, про сценическое движение... Я ведь по танцу подавал надежды. Меня даже пришли смотреть из народного ансамбля и еще в оперетту звали. Гроссфатер из «Щелкуна» у меня особенно получался – эта козлиная смена двухдольного размера на трехдольный. «Покажи», – тут же потребовал Некрасов. Я что-то изобразил на ковре. Пьяный, говорил уже какие-то глупости: «Правда, Платоныч, в этой мелодии есть что-то непреклонное и надежное?»

В надежности Виктора Платоновича я мог убедиться не раз. В квартиру на бульваре Шевченко мы с Аленой въехали практически без ничего, безо всякой мебели. Она получила «в наследство» от своих родителей полспальни: зеркало, кровать и «шкап». Мы уже что-то себе подыскивали, но на то, что нравилось, не хватало денежных средств. Алла уезжала в Москву (предстояли игры КВН, она ездила от Молодежной редакции Киевского ТВ) и грустно доложила на семейном совете: «Видела чешский гарнитур – их всего двадцать штук. Разбирают... С угловой тахтой, журнальным столиком (все это тогда было в диковинку!). Позвони Халатову, может, денег одолжит». Сказала – и уехала. Я Халатову позвонил, у него действительно водились деньги. А он весело: «Мима, Олег! Ми-ма!» (Значит, сейчас нет и не проси.) Решился позвонить Некрасову. Он в трубку: «Дам. Правда, у меня на срочном вкладе. А сколько надо?» А надо было тысяч двадцать старыми деньгами... Алла вернулась через два дня, а гарнитур уже стоял в комнате! В.П. принимал живейшее участие в расстановке: «Аллочка, нет мебели красного бархата, кровати с блестящими шишечками, бронзовой лампы с абажуром, лучших на свете шкапов с книгами, пахнущих таинственным старинным шоколадом, нет с соколом в руке Алексея Михайловича... (Он описание комнаты Турбиных знал наизусть, я его не раз просил еще повторить – уж больно ласкало ухо. Он потрясаяще это «озвучивал» – то как пролетарский грузчик, готовый все выбросить из окна второго этажа, то как оценщик перед аукционом.) Ничего, Аллочка, когда-нибудь и у вас

будет Людовик Четырнадцатый, нежащийся на берегу шелкового озера в райском саду... Я предлагаю эту не уступающую по красоте чешскую *meubles* срочно обмыть!»

Теперь, через много лет, я снова в Киеве. Прогуливаюсь по Пассажу, заглядываю в его окна, дохожу по Андреевскому спуску до Контрактовой площади и сажусь с сыном на парходик до Осокорков. Ищу глазами своего гроссфатера, крестного отца, Виктора Платоновича, Вику...

1977 год

Февраль, 1

Ночь перед распределением

Маленькое седое облачко протиснулось в приоткрытую форточку. Что-то хрустнуло. Заскулил Ванька, пришлось встать с постели и уложить его в прихожей на подстилку. Закрыл дверь, а он стал ее царапать. Подумал – не буду обращать на него внимания. Облако тем временем не растворилось в комнате, а как-то странно зависло. Потянуло холодом. Я поскорее залег под одеяло, закрыл глаза, но чувствую – не усну. Вижу перед собой очертания знакомой женщины, которая, рассевшись в кресле, поджала под себя ноги и закурила.

То ли оттого, что табачный дым разъедал мне глаза, то ли зуб на зуб уже не попадал, я тут же вскочил на кровати и... этот бред кончился. На лбу выступила испарина. Вспомнил, что она уже снилась мне – это случилось перед тем, как позвонил Юра Аксенов и сообщил, что начинает репетировать «Генриха»... у меня дома.

Я тогда шок испытал. Почему дома? Почему не в театре вместе со всеми? «Так велел Георгий Александрович! – сказал Аксенов, переступив порог моего дома. – Будем готовить тебя вместо Рецепттера на роль принца. Володя с ролью не справляется. Я получил задание... Но только никто не должен знать, ни одна душа! Только твои домашние...» Пахло это дурно, но правила этой игры нужно было принять.

Мы репетировали месяца два. Они – в театре, мы – дома. Мне уже не терпелось выскочить на сцену, однако нужный момент долго не наступал. Я незаметно приходил в театр, когда репетиция уже начиналась, устраивался на балкончике. Повторял за Рецепттером «свой» текст. Однажды меня «засек» любопытный Стржельчик, стал выведывать. «Что это ты здесь делаешь? Уже второй день ходишь!» Товстоногов тоже Аксенова втихаря допрашивал: «Ну, как там Борисов? Готов?» А Борисов как на дрожжах.

Наконец мой день настал. Г.А. делал Рецепттеру очередное замечание: «Услышав, что отец назначил вас командующим, вы потрясены и всю сцену живете этим. Жи-ве-те, понимаете, Володя? А вы никак не можете выпутаться из слов. Надо уметь играть то, что лежит за словами!» Володя Рецепттер, видимо, чувствовал, что за его спиной что-то происходит (а может, знал? ведь это театр, и любая тайна быстро становится явью! – достаточно хотя бы одному человеку что-то унюхать). Рецепттер был раздражен этим заданием шефа и сорвался: «Я не м-могу, Г-Георгий Александрович, к-когда вы мне изо дня в день... изо дня в день...» Это была последняя капля. Далее последовало как в шахматной партии «на флажке»:

Товстоногов: Где Борисов?.. Я хотел бы знать... Юрий Ефимович, вы не могли бы мне сказать, где Борисов?..

Я (с балкона): Борисов здесь!

Товстоногов (поворачиваясь в зал): Где здесь? Почему вы где-то прячетесь?

Я: Я не прячусь!

Товстоногов: Вы можете это сыграть? Прямо сейчас выйти и сыграть?

Я. Могу, Георгий Александрович!

Товстоногов: Можете?.. Хм... Так идите играйте, чего ж вы ждете? Начинайте со сцены в трактире.

Когда я побежал на сцену, наткнулся на пристальный глаз Дины Шварц, направленный на меня из ложи. Сыграл «трактир», а потом и весь первый акт. Поначалу тряслись руки, но Товстоногов вроде был доволен: и как я играл, и как они с Аксеновым придумали эту «партию». Помню, был взбешен Копелян: «А зачем мы тут два месяца корячились? Почему ты мне ничего не сказал? Можно же было тебя сразу назначить...» И вправду – может, можно было сразу?..

Кстати, тогда, перед звонком Аксенова, она приснилась на какой-то вечеринке, в хорошем расположении духа. Мы пили вино и танцевали в обнимку. А сегодня – такой мучительный сон... Не иначе как грянет буря.

Нет, буря не грянула. Все было так, как бывает при распределении¹. Огласили список действующих лиц – от Петра Мелехова – К. Лаврова до адъютанта генерала Фицхелаурова – Бори Лёскина. «Забыли» только Гришку Мелехова. Последовала маленькая режиссерская экспликация: дескать, роман Шолохова – одно из любимых творений в нашей литературе, эпос. Дина Морисовна начала еще два года назад работу над инсценировкой и т. д. Ни слова о главном. Наконец: «Но вы же хотите знать, кто Гришка?» Все в зале заерзали от предвкушений. У Товстоногова выразительная мимика, он разводит руками: ну где взять, мол, коли нет? Потом вынимает уже сложенный список, чтобы еще раз удостовериться. Произносит нерешительно: «Григорий... Григорий... (пауза, оглядывает присутствующих). Чем черт не шутит... (затягивается сигаретой). Ну, попробуйте пока вы... да-да, вы, Олег...»

Чувствовал себя нашкодившим котенком. Но какой выход у советского артиста? Вспомним, что говорил в таких случаях Кочкарев: «...что ж из того, что плюнет? Если бы, другое дело, был далеко платок, а то ведь он тут же в кармане, – взял да и вытер».

Апрель, 17

С кем быть?

Репетирую еще одного Гамлета – теперь казацкого¹. Сначала был Гамлет Щигровского уезда, некий Василий Васильевич², наделенный комплексом неоригинального человека – даже уехал за границу учиться, чтобы преодолеть этот комплекс. Слушать немецких профессоров. Но, как и многие русские за границей, остался со своей не востребуемостью: «Посудите сами... какую пользу мог я извлечь из энциклопедии Гегеля? Что общего, скажите, между этой энциклопедией и русской жизнью?»

Еще в Школе-студии я выучил чеховский рассказ «В Москве». Этот Гамлет казался мне фельетонным и несколько ироническим. Обратился к В.И. Вершилову³ послушать мое чтение.

Он остановил меня почти сразу и попросил читать так, как будто он, Вершилов, и есть «московский Гамлет». Я запротестовал: «Тут совсем не так, Борис Ильич. Разве вы «легко миритесь с низкими потолками, и с тараканами, и с пьяными приятелями, которые ложатся на вашу постель прямо в грязных сапогах»? Он отвечает не задумываясь: «Легко мирюсь, молодой человек, представьте себе, приходится. И что каждую минуту Америку открываю – тоже правда. Тут все про меня. (Он открыл томик Чехова и стал приводить другие примеры из текста.) Например, «когда говорят мне, что Москве нужна канализация или что клюква растет не на дворе, то я с изумлением спрашиваю: «Неужели?» За всем этим, мой милый Олег, не я один, а все поколение отстрелянной интеллигенции. Зачем же так немилосердно его бичевать? Посочувствуйте. А этот монолог просто до слез трогает: «С самого рождения живу в Москве, но, ей-богу, не знаю, какой город богаче: Москва или Лондон. Если Лондон богаче, то почему?» Он как-то трогательно пожал плечами, и в один момент мне показалось, что он действительно заплачет. «Трагедия! Как для гоголевского Гаврюшки, который не мог решить, какой из городов партикулярней – Рязань или Казань?»

И тут же, улучив момент, начинаю задавать Вершилову глупые вопросы: например, как сегодня играть Гамлета? «А что, тебе уже предложили? – тут же переспросил Вершилов. – Знаешь такое латинское выражение «Буриданов осел между двумя лужайками»? Жил когда-то умный философ Буридан, он и поведал миру эту притчу: осел находится между двумя стогами сена, одинаково от него удаленными, долго колеблется в выборе, начинает между ними метаться и в конце концов умирает с голоду... Трагедия! То же и с нами, только вопрос не в том, «быть или не быть?», а вопрос: «с кем быть?» Понимаешь – с кем? Я вот и у Михаила Чехова побывал, и у Вахтангова. Ты что-нибудь слышал о моей постановке «Разбойников»?.. Ко мне ведь во МХАТе отношение настороженное, прохладное, даже со стороны студентов...» – и он, погладив меня по голове, зашагал по коридору. Я на всю жизнь запомнил эту удаляющуюся тень.

Май, 23

Молитва

У меня ощущение, что еще в утробе матери я начал браниться. «Не хочу на эту землю, ну ее... вообще погоди рожать, мать», – кричал я ей из живота, лягаясь ногами. Она, говорит, что-то слышала, да ничего не поняла.

В это время гостил в Москве бельгийский принц Альберт. Все как положено, с официальным визитом – красивый, некривоногий. Мать возьми да назови меня в его честь. (И чего ей взбрело...) Я потом долго искал его следы – побывал в Лондоне, постоял у Альберт-холла, в библиотеке отца книгу прочитал о каком-то Альберте фон Большадте, учителе Фомы Аквинского.

Но все окончательно перепуталось в тот день, когда родители забирали меня из роддома. Принесли домой – бац! А там девчонка! Как же так, мать точно знает, что родила парня! Подсунули! Она обратно в роддом, объясняет: так-то и так, мол, где же ваша пролетарская совесть, товарищи? Отдайте мне назад сына. Они: ничего не знаем, надо было раньше думать. Она объясняет по новой: у него на лбу такая зеленочка, но там же тоже не дураки сидят – у всех зеленочка! Она им метрики разные, бутылку принесла, кое-как упростила – отдали ей парня, но чтобы назад уже не приносила – не примут! Вот она до конца и не уверена: я это или не я. Развернула меня, плачет. Я ее успокаиваю: «Не горюй, мамка, как-нибудь проживем. Конечно, хотелось как лучше, но обмануть не вышло! Кому-то другому подфартило, может, та девчонка, которая вместо меня в пеленках лежала, уже в Бельгию умахнула. За принцем».

Все это приключилось в 29-м. На всем моем поколении эта печать: при родах перепутали! Но уж коль родились, выхода нет, надо жить... Тут как раз и всеобщая коллективизация подоспела. Бабуся корову с кем-то делит, отца директором назначают сельхозтехникума. Но для меня все их собрания – скучища, я скорее на войну!

Скорешился с одним косоглазым. Договорились: *сегодня* он за казаков, я за красных. Принесли клятву на верность, потом поменялись: я за казаков, он за красных. (Сидели в репейнике, перестреливались горохом. Подсмотрели за одним, что ходил по деревне с кружкой, проводили его до избы и решили «раскулачить»). Вынесли самогонную машину через окно, пока его дома не было, но жидкость решили по дороге испробовать. Кончилось это худо – заснули прямо в овраге, а проснулись от того, что хозяин машины колотил нас палкой. «Надо было уж и огурцы тащить! Ворье, молокососы!» – кричал он вслед. После этого мы уселись на поляне – как будто у нас военный совет. Надо было разработать план, как пробраться в пионерлагерь – к детишкам богатых родителей. На их вещи позарились. Выжидали момент, когда пионеры на Волгу убегут...

Тянули соломинку. Я вытащил длинную. Испугался, идти боюсь – дело рискованное. Тут косоглазый вынимает из портков аккуратно сложенную бумажку и шепчет: «На, про-

чти. Только никому не показывай! Строго секретно». Я читаю еще плохо; а тут слова вообще непонятные. У косоглазого лучше получается: «Царю Небесный, Утешителю, Душе истины... на, понял?» – «А что это?» – «Молитва Святому Духу называется. Если прочтешь семь раз, всякое дело получается. Я у мамы переписал. Тайком. Ты сам-то крещеный?» – «Откуда мне знать...» Так я впервые узнал про молитву. Прочел семь раз и отправился «на дело». Как ни странно, прошло успешно – косоглазому портки достались, себе взял рубашку и носил ее наизнанку, чтоб не опознал хозяин.

...В спектакле «Тихий Дон» самое трудное – это «наплывы». Движение лемеха, стрекотание цикад – и начинаются воспоминания. Это киноприем. В кино снимают сегодня твою молодость, завтра могут старость. В спектакле все перемешано, мгновенный наплыв – и ты признаешься в любви Аксинье, после чего свет меняется, цикады не верещат – и ты бьешь ее по лицу кнутом: «Гадина!» То же и в сцене с Петром, моим братом: разговор перед боем путается с воспоминаниями детства:

- На-ка вот...
- Чегой-то?
- Молитву тебе списал... Ты возьми.
- Что, помогает?
- А ты не смейся, Григорий.
- А я не смеюсь.

Так на репетициях «Тихого Дона» возникают «наплывы» в свое собственное детство. Вроде ничего уже не помню – ни как в роддоме перепутали, ни как молитву читал. Но вдруг от одного слова меня как обожгло. Как будто все вчера было.

Май, 29

В поисках жены Кочкарева

Параллельно с репетициями «Тихого Дона» – съемки «Женитьбы».

В кино главное – история. Не разговоры вокруг нее, а чей-нибудь «роман жизни», как придумал когда-то Товстоногов. Что известно о Кочкареве? Что за птица? Скороговорка, привычная хлопотливость – так всегда играли. Все женихи, невеста – в замедленном темпе, как будто их Векслер снимал на другой скорости. Но отчего я – на убыстренной? Чего я добиваюсь? Может, во мне-то все дело – не в Подколесине и не в Агафье Тихоновне? Но Подколесин тоже должен чего-то хотеть. Из кожи лезть. Если и не жениться, то по крайней мере произвести хоть впечатление жениха. А что же все-таки Кочкарев? «Жена моя беспрестанно говорит о том...» Значит, есть жена. А может, и врет... Хотя с какой стати ему врать?.. Хорошо сняли начало фильма. Вышел из Гостиного: холодно, увязался за бабой. Стал преследовать, даже извозчика нанял. Потом потерял ее в подворотнях. После такого начала хорошо бы не упустить его из виду: что дома, какая жена? Это важно знать. У них с ней наверняка скандал выйдет, настроение паршивое и со скуки – к Подколесину! Видит, вокруг него вьется сваха... И что? Зачем ему понадобилось ее отвадить? Из ревности? Но к кому? А что если Агафья Тихоновна ему нужна не для того, чтобы женить Подколесина? А что если... К.П. Хохлов учил меня: «Не бойся задавать глупые вопросы. Глупые, еще глупей!» Я и не боюсь. Только жаль, что такого персонажа – «жена Кочкарева» – ни в пьесе, ни в сценарии нет.

А может, это автобиография? Как часто у Гоголя – какая-то частичка автобиографии. Если и не имевшая место как факт, но подспудно засевшая в мозгу. Только кто тут Гоголь: Подколесин, Кочкарев или... Агафья Тихоновна? Гоголь искал потрясений. Завидовал даже своим друзьям, когда у них случалось несчастье. У критика Погодина умерла жена, он написал ему: «Друг, несчастья суть великие знаки Божьей любви. Не огорчайся! Они ниспосылаются для перелома жизни в человеке...» Погодин был в бешенстве и разорвал письмо.

Можно предположить, что сам Гоголь вдруг решился на женитьбу из желания какого-нибудь перелома, потрясения. А может, и еще из каких побуждений. Захотел представить это хотя бы на бумаге – зажмурившись. В самом деле, разве приятно, чтобы потом, после твоей смерти, о тебе говорили: «Только и останется в памяти, как Гоголь готовил макароны...» Или: «Золотушно-вялым призраком проходит Гоголь через жизнь. Никаких общественных исканий, никакого бунтарства... никакой страсти, никакой, даже самой обыденной любви к женщине». И кто так напишет – Вересаев, лучший исследователь! Так, может, женитьба – это бунт?

Октябрь, 19

Цирлих-Манирлих

Княгиня Волконская, преподававшая манеры, как-то раз спустилась с нами в столовую: «Можно поприсутствовать? Я бы хотела разделить с вами трапезу. Не против?»

Помню, ели толстые синие макароны. Она сначала улыбалась, пока макароны остывали, а мы от неожиданности, голодные, между собой переглядывались. «Знаете, как у Чехова... «По-моему, наши русские макароны лучше, чем итальянские. Я вам докажу! Однажды в Ницце мне подали севрюги, так я чуть не зарыдала!» – процитировала она и начала аккуратнейшим образом заворачивать макароны на вилку. Ей эта процедура не давалась – макароны, напоминавшие переваренную лапшу, слетали обратно в тарелку. «Вот видите, доказать, что наши макароны лучше итальянских, мне пока не удастся», – и отставила от себя тарелку. Я сидел рядом с ней. Поймал ее взгляд на моих черных, неаккуратно срезанных ногтях. Ту руку, которая была ближе к ней, тут же убрал в карман, другая держала на весу вилку с макаронами. «Вам нечего стыдиться своих ногтей, – поспешила успокоить княгиня. – Вы, наверное, успеваете еще работать в саду... Вот если бы вы содержали или посещали какой-нибудь салон, вам бы пришлось отпустить длинные ногти. Длинные настолько, чтобы они только могли держаться, и прицепить в виде запонок блюдечки, чтобы на протяжении всего вечера нельзя бы было пошевелить руками. Помните, что говорит Облонский Левину «В чем цель любого образования – изо всего сделать наслаждение!..» Лева Брянцев⁴ уже глядел на княгиню волком. В его глазах читалось: здесь, за столом, нам не до лекций, Елизавета Григорьевна! «Деревенские жители старались поскорее наесться, чтобы быть в состоянии работать в саду, – не обращая внимания на Брянцева, продолжала невозмутимая княгиня, – а аристократия старалась как можно дольше потянуть время и для этого заказывала устрицы». Лева Брянцев уже не мог слушать княгиню без слюноотделения. Он тупо уставился на остывающие макароны и был готов плакать. Елизавета Григорьевна, еще раз попробовав намотать макароны, вскоре от этой затеи вовсе отказалась и попросила каши. Мы ждали с замиранием сердца. «По-моему, гречневая каша – тоже очень изысканное блюдо. Грубая пища вообще полезна...» – сказала она, но мы уже не дождались, когда она донесет свою ложку до тарелки. Мы стремительно заглотнули свои макароны (секунд за 30–40 нами опустошалось любое блюдо, особенно мною и Брянцевым), а княгиня Волконская еще только тянулась к своей каше. Мы урчали, втягивали не только макароны, но и воздух. Она снисходительно реагировала на наш стук вилками. «Боже мой, разве я вас так учила?! Пусть это и не суп прентаньер, и не тюрбо сое Бомарше... Будьте осторожны, Борисов, не проглотите свои пальцы!» Когда в конце трапезы я громко попросил «поджарить нам воды» (имелось в виду подогреть чай), Елизавета Григорьевна не выдержала и убежала со словами: «Фу, Борисов, этого я не ожидала от вас!»

Сколько прошло лет?... Все это вспомнилось сейчас, на репетициях «Тихого Дона», когда Басилашвили распекал меня – Гришку Мелехова – за отсутствие манер: «Во время еды ты руки вытираешь либо о волосы, либо о голенища сапог. А ногти на пальцах либо обкусываешь, либо срезаешь кончиком шашки! В вопросах приличия ты просто пробка».

Товстоногов просит меня ответить «с надрывом» – задело за живое! Отвечаю именно так: «Это у вас пробка! А вот погоди, дай срок, перейду к красным, у них я буду тяжелей свинца! И тогда уж не попадайтесь мне приличные и образованные дарр-мо-е-ды!» Басилашвили передернуло, а Товстоногов моей репликой доволен, хвалит: «Не собираетесь ли вы, Олег, и в самом деле перебраться к «красным»? Я слышал, вас уже склоняют...»

Действительно, опасность нависла. Как дамоклов меч. Уже третий месяц Пустохин, секретарь парткома, за мной ходит. По пятам. Не было заботы, так подай. Я ему: Болен, Толя. Действительно, лежу с гриппом, плохо себя чувствую. Он говорит: «Хочешь, я к тебе с марлевой повязкой домой приду, сразу договоримся?» «Я ему: «Толя, ты как клещ, дай поболеть спокойно. Потом – съемки, уезжаю на десять дней в Москву». По возвращении звонит, не успел в дом войти: надо поговорить. Опять отлыниваю. Начинаются репетиции «Тихого Дона», он как заладил: «Григорий должен быть членом, ты не имеешь права...» Я объясняю по-человечески: «У меня Алена в рядах, ей положено по должности, она у меня голова, на семью одного коммуниста достаточно». Он ни в какую: «Народный – ты, партия тебя признала». (Партия?) Я свои аргументы: «Посуди сам, Толя. Хоть я и народный, но ни народ, ни твоя партия в широком, массовом значении слова меня не знают. Уважает кучка пейсов, вредных интеллигентов – изгоев, блокадников, собаководов, алкоголиков – и то не тех, что политуру, самогон, мебельный лак... Такая маленькая кучка. Все! Кому нужен мой Плещеев, мой Кистерев? Хочешь, я расскажу тебе историю про киевского режиссера Сумарокова? Он долго отбивался, умолял свой партком: ну, не могу я, у меня все в голове путается: эмпириокритицизм, прибавочная стоимость... Его скрутили, заставили выступить на открытом собрании. Он долго готовился, понимал, что на карту поставлена его репутация. Захотел внести свежую струю. Положил грим, набрал побольше воздуха, встал посреди собрания и в самом неподходящем месте громогласно воскликнул: **«Да здравствует наш совершенно потрясающий партком, совершенно умопомрачительное правительство и совершенно замечательное ЦК!!!»** Больше ему никогда слова не давали. Навсегда вошел в историю театра, вписал себя золотыми буквами. Ты хочешь услышать от меня такую же здравицу?.. «Конечно, я все это вливал в Пустохина по капле, не сразу. Еще напомнил ему про героев. Ведь вам, Толя, нужны красивые, социальные. А что у меня? Посмотри внимательно – не тот парад на лице!.. Знаешь, я сейчас читаю «Крейцерову сонату» Лёва Николаевича... Могу срисовать оттуда портрет, который тебе нужен. Присмотрись в театре к кому-нибудь еще – и ты найдешь то, что ищешь: «миндалевидные влажные глаза, красные улыбающиеся губы, прическа последняя, модная... сложение неуродливое, с особенно развитым задом, как у женщины». По-моему, вполне... «Кто написал эту сонату? – переспросил Пустохин. – Надо будет почитать...» Он малость уже подскис, задумался: «Да, – говорит, – на трибуну тебя не поставишь. Кочергин тоже не может в партию, он – католик. Пойду-ка я к Стрельчику, поговорю с ним. Как ты думаешь, согласится?..»

Одобрила бы мое поведение княгиня Волконская? Как далеки от жизни ее уроки, думаю иногда я, когда вспоминаю нашу Цирлих-Манирлих. А может, и не так уж далеки?..

Ноябрь, 8

Застрелиться всегда успеете!

В собрании Хемингуэя есть один странный очерк «Маэстро задает вопросы». Некий молодой человек (его Хемингуэй прозвал Маэстро, или просто Майе, за то, что он играл на скрипке) приехал к писателю, чтобы задавать вопросы. Вопросы немудреные: какова должна быть писательская техника – карандаш или машинка? Сколько нужно каждый раз перечитывать то, что уже написано, прежде чем писать дальше? Один вопрос меня заинтересовал, точнее, ответ на него:

«Майе: Какие книги следует прочитать писателю в обязательном порядке?»

Ваш корреспондент (это и есть сам Хемингуэй): Ему следует прочесть все, чтобы знать, кого ему предстоит обскакать. Какой толк писать о том, о чем уже было написано, если не надеешься написать лучше?»

Резонно. Дальше идет довольно приличный перечень литературы, который и предстоит «обскакать». Тут и «Война и мир», и «Анна Каренина», и «Мадам Бовари», и «Красное и черное» – из того, что хорошо известно. В связи с Достоевским отбор выглядит так: «Братья Карамазовы» и еще два любых его романа (вроде как и неважно, каких именно. Немного обидно за Ф.М.).

Дальше – о ужас! – весь Тургенев. Непременно весь! Ф.М., наверное, перевернулся. Получается, что можно вообще без Гоголя и Пушкина. Хотя обскакивать их все равно некому, это уж точно. Я читал «Поворот винта»⁵, мне понравилась эта история. Я рад, что она удостоена быть в этом списке, но «Чертогон» Лескова и «Черный монах» Чехова явно не хуже!

Все-таки я увлекся этой идеей – составить и для себя некий список (хоть какой-нибудь, но список!). В этом есть что-то американское, а побывать американцем хотя бы на бумаге очень хочется. Действительно, почему бы не иметь перед собой список актеров и ролей, которые следует превзойти? Где же мое честолюбие? Я буду это делать на полном серьезе, естественно, исходя из того, что видел.

Романов в «Живом трупe». Безусловно, номер один. Ни у кого не встречал такой чистоты, первозданности. Опровержение того, что лицедейство – грех. Вообще никакого лицедейства! Уже хотя бы потому нужно было распределиться после МХАТа в Киев, чтобы его увидеть. Это не странная, не манерная первозданность, не излом. Это невесомость, как будто едва видимый нимб стоял над ним. При всем этом, неземном, непревзойденная земная техника, которую нужно записывать и издавать в учебниках.

Оскар Вернер в «Корабле дураков» (несколько дней назад видел этот фильм в Доме кино). С первых кадров понятно, что это изысканный одиночка. Никогда не пустит к себе ближе, чем того хочет сам. Ореол тайны. Мог бы потрясаяще, по-фрейдовски (потому что Вена!) сыграть Достоевского. И еще потому, что ипохондрик... Сцена смерти доктора Шумана незабываема!

Нужно еще вспомнить моего педагога С.К. Блинникова в роли Бубнова в «На дне», Дирка Богарда во всем, что мне удалось увидеть, гениального Добронравова в «Царе Федоре», Скофилда в «Лире», Жанну Моро в фильме Брука «Модерато кантабиле», Любимова в эфросовском «Мольере»... (Какой сумбурный список!) Наконец, Смоктуновского в первой версии «Идиота» (вторая версия, в которой играл уже я, была слепком, и слепком нелучшим. Тиражирование одного приема, любой повтор чреват «одинаковостью». Смоктуновский эту опасность, как мне кажется, не почувствовал).

Товстоногов замечательно сказал: «Когда режиссер смотрит работу другого режиссера и ему хочется что-то украсть у него – это хороший признак, значит, у его коллеги что-то действительно получилось». В этом Товстоногову можно абсолютно доверять. Но можно ли так же сказать и об актерах? Вот я написал о Романове, но можно ли было у него что-то «украсть»? Можно ли было его «обскакать»? Даже если такая цель будет поставлена, русский артист, прежде чем украдет... начнет мучиться. Это особенность русского – копаться в себе и в результате все испортить. Другое дело американец. Он уверен, что высота взята еще до прыжка. Ему наплевать на муки совести. А Хемингуэй прекрасен, конечно, не этой шуткой. Я не думаю, что, когда старик Хэм писал «Острова в океане», он задумывался, будет ли его новый роман посильнее «Братьев Карамазовых» и двух любых романов Достоевского.

А конец в этом странном очерке все-таки замечательный! (Я, конечно, на месте Майса представляю себя – ведь взялся так же, как он, не за свое дело!).

«Ваш корреспондент: Пишите. Поработайте лет пять, и если тогда поймете, что ничего из вас не выходит, застрелиться всегда успеете.

Майс: Нет, я не застрелюсь.

Ваш корреспондент: Тогда приезжайте сюда, и я вас застрелю.

Майс: Спасибо».

Со списком артистов закругляюсь. Я не энциклопедист и не мольеровский Сганарель, который считал жен своего хозяина. Списки – это его дело.

Забыл еще одного артиста включить в тот начатый список! Конечно, не знаю его фамилии. Это мальчик в климовской картине⁶, который ходит с сачком и всех терроризирует: «Чой-то вы тут делаете, а?» Попробуй такого переиграть! Значит, выход один – застрелиться!

Декабрь, 28

«Смеялся Лидин...»

В конце февраля были в Большом зале филармонии на концерте Е.А. Мравинского. До сих пор не находилось времени записать свои впечатления.

Билеты невозможно было достать, помогли Александра Михайловна, жена Мравинского, и А.А. Золотов, который специально прилетел на концерт из Москвы. Александра Михайловна сказала, что Евгений Александрович любит смотреть мои фильмы и вообще внимательно следит за моим творчеством. Спасибо ему, это всегда приятно слышать, а от него – приятней во сто крат!

«Щелкун» потряс меня – трагичный, небалетный! Как он дирижировал боем мышей! Мне вспомнилось пушкинское: «жизни мышья беготня...» А тот эпизод, который в программе был обозначен: «Маша одна в темной гостиной. Лунный свет», произвел впечатление громадного снежного кома, который медленно накатывался на тебя.

После «снежных хлопьев» Мравинский сделал паузу. На этот раз не было чахоточного ленинградского покашливания – гробовая тишина. Он восседал на высоком контрабасовом стуле. Поставил правую ногу на обыкновенный стул, обитый красным филармоническим бархатом и специально приготовленный около пюпитра. Видимо, этим он давал понять, что сегодня программа для него не самая сложная и он может себе позволить сидеть посвободней. (И в самом деле, в программе концерта – балетная музыка, но только в ней не было ничего балетного; ничего, кроме названия.) На стул, который стоял по левую сторону от пюпитра, шикарным жестом был положен переплетенный том с уже отыгранными номерами – как я потом узнал, партитура первого акта балета. Его точеная нога с вытянутым как стрела носком напоминала мне ногу Воланда – что-то демоническое в ней было!

Он медленно протер очки, и началось знаменитое адажио.

Я почувствовал себя Лиром, безумным Лиром, пробуждающимся под звуки *его* музыки. А еще я думал о том, что этот балет П.И. мне больше не захочется смотреть в театре – не захочется видеть пачки, батманы, падающие на пол «снежинки». Достать бы потом запись и слушать дома.

В какой-то момент Мравинский поднялся со стула, вытянулся во весь свой гигантский рост, сжал левую руку в кулак, поднял ее над оркестром, грозно посмотрел на трубы – и они грянули!.. Захотелось куда-то зарыться. Все привыкли к его экономным, скупым жестам: незаметному подъему бровей, холодноватой полуулыбке – нет, даже четверть улыбке, от которой мурашки бежали по телу. Все эти движения были собраны в тончайшую микросхему – и вдруг такой выплеск, такая кульминация! Для Маши, судя по обозначению в программе, это конец сна, всех видений, а для слушателя – конец света, не меньше.

После концерта вся приглашенная публика – потрясенная – стояла около его артистической, выстроившись в цепочку. Чтобы как-то выразить благодарность. Он принимал поздравления сидя – уставший, но, судя по обрывкам фраз, долетавших до меня, концертом довольный. К нам с Юрой подбежал Андрей Андреевич и сказал, что нужно подождать, пока схлынет толпа и можно будет пройти в артистическую. Там соберутся самые приближенные, нас тоже ждут. Я засомневался: это как-то неудобно, мы не знакомы, лучше в другой раз, но

Андрей Андреевич, резко потянув за рукав, начал настаивать: вот и хорошо, я вас и познакомлю. Юра тоже хотел, ну мы и пошли.

К тому времени в дирижерской оставалась Александра Михайловна, первая скрипка Либерман, библиотекарь, два или три музыканта из оркестра (я узнал виолончелиста, который играл соло), Андрей Андреевич и я с Юрой. Евгений Александрович сидел в высоком кресле и, казалось, был еще погружен в партитуру, курил папироску, положив ногу на ногу – так, что правый «воландовский» носок казался еще острей. Воспользовавшись паузой, Либерман на ушко спросил меня: ну, как вам? Мравинский этот вопрос услышал и как будто немного вытянулся в кресле. Я восторженно развел руками, не находя слов. Либерман понял мой жест, улыбнулся, и воцарилось молчание. Прервал его сам Мравинский, посетовав, что снег, снежные хлопья в концерте получились какие-то раскисшие, ватные, а ему хотелось хрустящих, чтоб разлетелись по залу как «стеклышки из андерсеновской сказочки». (Мравинский, конечно, имел в виду начало «Снежной королевы», когда зеркало, сделанное злым троллем, полетело с неба на землю и разбилось вдребезги.) Никто не посмел оспорить эту жутковатую аллегорию, и в дирижерской снова воцарилось молчание. Наконец маэстро бросил испытующий взгляд на меня. Я аж съезжился на стуле, потому что вслед за ним и все присутствующие перевели на меня взгляды – я понял, что нужно что-то сказать. А сказал я то, о чем подумал еще во время концерта, – что больше никогда не пойду в балетный театр на «Щелкунчика». Мравинскому это понравилось. Он что-то шепнул виолончели и, довольный, потер руки: «Так, так... Очень хорошо. Очень хорошо...» Тут мне бы остановиться, но я решил сказать все: «Евгений Александрович, у Шекспира в «Короле Лире» есть такая сцена – «Король спит. Играет тихая музыка». Так вот, когда Маша осталась одна в темной комнате, мне почему-то показалось...» Я не закончил, потому что увидел вытянувшееся лицо Мравинского. Его брови поднялись так грозно, словно я взял в концерте фальшивую ноту. Он очень корректно мне возразил: «По-моему, сравнение с Шекспиром здесь неправомерно. Нет, пожалуй, нет... Чайковский в «Щелкунчике» – это что-то совсем другое», – и покачал головой. Я понял, что не то чтобы сел в лужу, но впечатление от вечера себе подпортил. Все снисходительно улыбнулись, он продолжал курить, а я про себя подумал: ну, не может у меня все гладко, обязательно какой-нибудь ляпсус... Вскоре кто-то заметил, что пора расходиться, ведь завтра снова концерт. Евгений Александрович согласился, поднялся нам навстречу, всем пожал руки, а мне добавил: «Вот к Шостаковичу это сравнение подошло бы. У него даже специальная музыка к «Лиру» есть. И чудная! А к Чайковскому – нет, вряд ли... Но все равно за добрые слова спасибо!» И очень приветливо, словно расстаемся ненадолго, положил руку на мое плечо. Ее отпечаток я до сих пор на себе чувствую.

Вечером нам позвонил Андрей Андреевич, громко смеясь в трубку. Оказывается, Мравинский меня не за того принял. Когда все вышли из артистической, он подошел к Золотову и похвастался: «Видите, Андрей Андреевич, какой у меня новый гэбэшник. Образованный!» Ему в тот день должны были представить нового «стукача» для будущих гастролей в Австрию, и он что-то напутал. Евгений Александрович передал мне свои извинения и все-таки утверждал, что у Гарина в телевизоре было другое лицо. А мое в артистической ему показалось подозрительным. Действительно, в «Гарине» у меня борода, да и много уже времени прошло, как показали фильм, но главное в другом – меня все время путают, до сих пор. Вот, говорят, идет Олег Анофриев! Что ж тут поделаешь?..

Андрей Андреевич еще долго смеялся. Как у Пушкина «Смеялся Лидин, их сосед».

1978 год

Январь, 27

Жизнь и ловля пресноводных рыб

Московский критик Смелянский, посмотрев наших «Дачников», рассказал, что Горький «замаскировал» в пьесе некоторые идеи Бердяева. И что вложены они в уста Шалимова. Перед Горьким стояла фигура Бердяева, а перед Товстоноговым – Стржельчика. Владик играет намеренно плоско, такому Шалимову дела нет до «нового поколения читателей, которые его не читают». А когда никому нет дела до сути, спектакль начинает трещать по швам... Вот Басик¹ на рыбалку собрался. Носовой платок на голову налепил. Путается в удочках. Во всем пародия... Между тем рыбалка – дело серьезное. Для меня-то точно. Я прошел школу Саши Анурова, мы с ним через пешеходный мост на Труханов остров ходили. Он меня учил. Может, в его глазах я выглядел тогда смешным, но «перья таким павлином» не распускал – стеснялся. А в Тракае с браконьером Ромой Карповичем ходил на угря. Ставили перемет, я наживлял его рыбками. Угорь бывает в движении ночью, вьется вокруг камышей и осоки. «Он живучий, сволочь, – объясняет мне по-польски Роман, – только если ему хребет переломить...» Мы притаились в камышах, а за нами милицейский катер увязался. Еле удрали. Зато во вторую ночь попался угорь с ослепительным металлическим цветом кожи. Как женская сумочка. Я его закоптил самолично. Вообще я учился по книге Сабанеева «Жизнь и ловля наших пресноводных рыб». Есть такой двухтомник... Вот Басик с рыбалки возвращается. Рассказывает об окунях. Жаль мне тут Горький слов не написал...

Что еще раздражает в «Дачниках» – какой-то «диабетический» набор телячьих нежностей. Ясно, это в пику Чехову, МХАТу. «Славная вы моя», «милая вы моя», «душа нежная, как персик», «я хочу, так жадно хочу», «мне нужен огонь, который выжег бы всю грязь и ржавчину моей души!...»

После этого спектакля тоже хочется что-нибудь выжечь.

Март, 4

Юсупов

Я на своем красном «жигуленке» поворачиваю с Фонтанки к Инженерному замку. Проезжаю мимо памятника Петру, потом поворот на Садовую, там еще один памятник – Суворову – и на мост. А дальше – «Ленфильм», там я забираю с работы Аллу.

Пять часов. Я каждый день езжу по этому маршруту. Есть еще маршрут на дачу в Комарово – он тоже по Кировскому, потом поворот на Приморское шоссе, мимо ЦПКиО. А маршрут в театр совсем короткий. Это три основных направления, по которым я передвигаюсь. Я не люблю их менять или ездить по другим адресам, потому что в городе совершенно не ориентируюсь. Лучше уж по проторенной дорожке. Но сегодня, после того как заберу Аллу, предстоит поездка в незнакомый район за какой-то люстрой. Алла говорит: антикварная, продается совсем дешево, а я злюсь оттого, что не знаю, как в Купчино рулить. Где это – Купчино?

Как назло машина глохнет прямо у Инженерного замка. Капот открываю, но в чем дело, понять не могу. Машины не останавливаются... Начинаю нервничать, что опоздаю. Замечаю какого-то ханурика, стоящего у серовато-розового камня, украшающего фасад. Подзываю, он подходит. Говорит, что понимает в машинах – работал водителем. По виду не скажешь. Патлы сальные, под глазами мешки, съёженный – в общем, тип петербургский. Лезет в капот. «Все дело в карбюраторе... Я тебя, кажись, где-то видел. А вот где, где?.. – Руки у него трясутся, замечает, что я к нему с недоверием. – Вы же знаете, что в этом дворце Павла задушили?» Переход неожиданный. «Знаю, конечно». – «А что потом здесь Инженерное училище было?.. В общем-то, училище не бог весть какое – те, кто его кончал, становились чаще всего чиновниками или офицерами... Вы не волнуйтесь, это от карбюратора меня не отвлекает. После убийства Павла Петровича помещение не ремонтировали, заставили кроватями, заправили одеялами и сделали училище. Здесь Достоевский учился, Федор Михалыч. Мрачный человек. Все-таки я твое лицо видел... Ты на плодоовощной базе не

работал?» – «Не имел чести. Откуда у вас знания такие?» – «Ничего удивительного. Я же потомок Юсуповых...» – «Надо же, а мы живем в квартире его бывшего камердинера! А что вы здесь, у Инженерного замка, делаете в эту пору?» – теперь стал уже допытываться я. «А ничего не делаю... Просто здесь потайной ход был. Мне дядя рассказывал, что вел он к каналу. Там должна была лодка стоять, если б Павел задумал бежать. Какой человек – не воспользоваться такой возможностью!» Я уже забыл о карбюраторе – думал, что у меня даже бутылки нет, чтоб рассчитаться с потомком Юсупова. И еще смотрел в окна, в которых когда-то, должно быть, появлялась голова императора Павла в короне. Голова Германа в черной шляпе. Светлокудрая голова Федора Михалыча... Боже, а сейчас какие-то неоновые лампы...

Юсупов взял трешку. Я опоздал к Алле больше чем на час.

Мы поехали в Купчино. Хоть и сидим сейчас в долгах, но люстру решили купить. Сначала она не произвела на меня впечатления – грязная, вся медь покрылась зеленью. Но когда отмыли, увидели потрясающий черный плафон с бронзовыми звездами и короной.

Мне теперь кажется, что она могла висеть в Инженерном замке во времена Павла. Кто знает...

Март, 28

Из чего состоят паузы

Со мной приключилось: сегодня на спектакле забыл текст! Большой кусок – как отрезало. Моя партнерша начала бесшумно подсказывать, как рыба открывать рот. Я по губам должен был определить... Кое-как вывернулся: по-моему, в зале не поняли. Они тоже устали и мои слова приняли за шолоховские. Когда возникла эта «дыра», потемнело в глазах и из темноты возник Михаил Федорович Романов. Пригрозил: «Текст надо повторять перед каждым спектаклем!» А я повторяю, Михаил Федорович, всегда повторяю... В общем, это симптом.

Странно, что возник именно Романов...

Когда-то его пригласили на Киевское телевидение почитать стихи. Первые передачи все транслировали «живьем», никаких записей. Он начал отлынивать: «Ребятки, это не мое дело, я артист театральный. Чего доброго слова забуду. Ведь атмосферка непривычная... А что читать?» «Все, что вам захочется, Михаил Федорович...» – усердствовал молодой редактор. «Так уж и все, что захочется... Вы мне посоветуйте. Хотя против Пушкина вы же не будете возражать?» «Против Пушкина не будем, – механически повторил редактор. – Только не эти «Пиндемонти» и «Пора, пора...». Что-то более целеустремленное...» В общем, его уломали.

По первым же движениям губ я понял, что Романов волнуется. Он читал «Зимний вечер». Почему-то на словах «где же кружка?» растерянно оглядел студию и, как потом сам рассказывал, увидел редактора, отхлебывающего чай. «Кружка!» – пронеслось в голове у Романова. Оператор замахал на него руками, строго указывая в объектив камеры. Когда нужно было спросить повторно «где же кружка?» (это уже в самом конце стиха) – он снова потянул шею в направлении редактора, однако глаз на него не поднял, нашел в себе силы и выдавил прямо на камеру обворожительную романовскую улыбку. Все было кончено: «Сердцу будет веселей!» – и я перевел у экрана дух. Теперь после первого стихотворения успокоится, и все пойдет как по маслу.

Не без тени сомнения, как-то нерешительно Романов объявил следующее стихотворение «Духовной жаждою томим». Я заерзал: «Что-то очень знакомое... Но такого стихотворения нет... Или есть? Так это «Пророк»! Но почему он так странно его объявил? Забыл? Решил перестраховаться из-за цензуры?..» Романов читал превосходно. От него шло напряжение, как от Агасфера:

...И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык...

Пророчество сбывается – после этих слов происходит непредвиденное. В моем телевизоре пропадает звук, я бросаюсь к регулятору громкости, начинаю вращать его вправо-влево. Звук от этого не появляется, однако губы Романова продолжают вещать. Внемую. Пожалуй, в этот момент он жестикулировал ими еще отчетливей, еще чле-но-раз-дель-ней. Лоб сделался сумрачным, зрачки расширились, как от смертельного испуга. Звука не было всего секунд десять, не больше. Наконец неполадка была устранена и с экрана вновь полилось:

Как труп в пустыне я лежал...

На телевидении все были заняты поиском виновного (что случилось со звуком? кто звукорежиссер?), и никто не обратил внимания, что читалась вещь, «не рекомендованная к эфиру». Да и бог с ней, с цензурой, все равно никто ничего не понял!.. Намного интересней другое... ведь Романов просто-напросто забыл слова. Восемь строчек, начиная от:

И празднословный и лукавый —

выпали у него из головы. Какую же надо иметь изворотливость, какую кошачью реакцию, чтоб на ходу такое придумать! А может, и не на ходу? Может, он заранее предвидел, что забудет, и сочинил такой «трюк»?..

Романов весь полон тайн. Иначе как мистическими не назовешь его паузы. Он говорил нам: «Зачем тут автор написал еще слова? Возможно без слов. Слова – хорошее прикрытие для плохого актера» – и брал карандаш с толстым грифелем. (Тогда появились очень удобные, чешские. Он даже мне один подарил – я храню, хотя грифели давно кончились.) И начал марать. Безжалостно. При этом приговаривал: «Пусть меня осудят авторы, критики» – и вымарывал еще фразу.

И действительно, он, только он мог без слов. Я хотел у него этому учиться, но никак не мог понять, как он это делает. Пробовал его движения разложить по кадрам:

...Вот он подошел к водке.

Выдохнул воздух.

Почесал затылок.

Потер руки.

Рассмотрел рюмку на свет – вроде как его волнует, хорошо ли вымыта.

Потом налил – медленнее некуда.

Перед тем как выпить, еще раз поднес к свету, чтоб убедиться, что не мутная.

Когда опрокинул в рот, проглотил не сразу – сначала прополоскал.

И уж такую гримасу скорчил...

Когда мы спрашивали Романова, как достигаются эти «длинноты», он от объяснений уходил. Отшучивался. Точнее, прикидывался, что не понимает, о чем спрашивают: «Олег, поверь мне, я не всегда помню, какую пьесу в этот вечер играют. Вот из кулис появляется Катенька Деревщикова. Ага, значит, играем «Машеньку». А какие там слова? Тут же направляюсь к авансцене и стучу каблуком у суфлерской будки. Требую подсказки. Из будки появляется Бликштейн, тут же «защепляет» бровь, поднимает на меня невинные еврейские глазки: «Что вам угодно, Михаил Федорович? Что играем «Машеньку», вы уже поняли? Сейчас я подам вам текст... Как у вас сегодня настроенные? Не в духе?.. Вижу, вижу...»

Текст понимаю не сразу, переспрашиваю. Потом уже, когда слова во мне улягутся, начинаю думать, как это сказать... Это процесс, милый мой, долгий процесс...

Светлый человек!.. Когда он уходил из театра, зашел к нам домой, на бульвар Шевченко. Прощаться. Зашел без звонка, без предупреждения. Сел прямо в прихожей: «Уезжаю в Москву. А в общем – в могилу... Конечно, у вас, Олег, другая ситуация – вы молоды... Но я вам тоже советую: уезжайте отсюда, пока не сожрали...» Весь вечер пил, не пьянел и все время молчал. Паузы...

В Москве он вскоре умер. Его могила, на которой гордо написано «Народный артист СССР», могила на Новодевичьем, совсем неухоженная...

Июнь, 28

«Поплавок»

Снова Киев. Завтра уедем к Лобановским на дачу, а сегодня с сыном отправились в Кирилловскую церковь.

Она еще неотреставрированная и, конечно, недействующая. Сначала преодолеваем подъем в гору. Кажется, это Куреневка. Может, я путаю, но здесь должна быть больница. Так и есть: появился некто в белом халате, потом некто в колпаке. Наверное, этим дозволено гулять, а другим строжайше запрещено. Эти – небуйные.

Я припоминаю этот тын... Много лет назад (шутка ли – около двадцати пяти!) мы с Катей Деревщиковой давали тут концерт. Получали каждый по пятерке. Месячная зарплата в театре – 90 рэ, а вместе с концертами набегало до 130. Больше всего подрабатывали под Новый год, и не только в дурдомах, но и в обычных больницах, домах престарелых. Чаше всего играли сцену из спектакля «Когда цветет акация». Сами сочинили такую «выжимку»: и выхожу с гитарой, за мной – Катя, следует сцена ревности – подозрения, пощечина, – потом примирение.

Кстати, в той больнице на Куреневке площадка была крошечная. Только и помещалось раздолбанное пианино – такое, что гитару не настроить, – и банкетка, с которой Машины ноги свисали прямо в зал. По традиции впереди сидели врачи, надсмотрщики, медперсонал. Больные – сзади, немного пригнув головы, будто на них будут лить холодную воду. В зале почему-то пахло карболкой. Один медработник попытался схватить Катю за ногу. Очевидно, в экстазе. Почему-то заплодировали. Вслед за ним повставали с мест врачи, первые два ряда. В этом не было ничего удивительного – моя партнерша была прехорошенькая, глаз не оторвать: когда еще представится возможность пообщаться так близко! Жалко было больных – за выросшими спинами медперсонала им ничего не было видно. Когда мы сцену отыграли, эти вроде как «нормальные» побежали в ординаторскую, где мы переодевались, стали просить билеты в театр, автографы, предлагать бесплатные лекарства, спирт, а Кате даже импортные босоножки. Те, что «ненормальные», тоже выделили к нам представителя. Он раскланялся галантно, поцеловал Деревщиковой ручку, а затем попросил меня отойти с ним в сторонку. Мы отошли.

Пока он представлялся, я искоса разглядывал его «овощную» фигурку – брови, напоминавшие гороховые стручки, и голову (как у Гоголя!) в форме редьки хвостом кверху. Он немного заикался. Однако глаза были бездонные, требовали уважения и мою руку он долго не выпускал. «Понимаете, какая история... – начал он свою исповедь. – Меня стали называть Нарциссом. Конечно, они надо мной смеялись. Но я, когда смотрел на себя в зеркало, не находил ничего смешного. Я понимал, что строение моего тела уникально. В природе ведь ценятся редкие, неповторимые экземпляры. Так вот... Однажды меня посетило желание не расставаться со своим изображением, и я налил в ванну воды. Специальный установил свет. Стал наливать каждый день и подолгу себя рассматривать... Шурочка, жена моя, отнеслась с пониманием. Она за что-то ценила меня – вы понимаете, вы правильно понимаете? Нам

жилось хорошо – может, потому, что у нас детей не могло быть... Я бил ее, вот ужас... И вот однажды она ушла в кино, а мне показалось мало одной ванны – я залил весь коридор. Снизу застучали соседи, я им открыл дверь и предложил вместе почитать Овидия Назона, кусочек про превращение Нарцисса. Вы же знаете, что у него есть такой замечательный труд «Метаморфозы»... Я тоже был занят этой проблемой – как из человека сделать цветок. Я ботаник по образованию... Хотите, я почитаю вам что-нибудь из Овидия? Хотите полный вариант или адаптированный, для психов?..» Я понимал, как глубоко симпатизирую этому Нарциссу, цветку Божьему, но что я мог для него сделать? Как сказано у Антона Палыча: «Раз общество ограждает себя от психов высоким забором, оно непобедимо!» Он отпустил наконец мою руку и попросил сигарету: «Только обещайте, что сделаете мне свои замечания по всей строгости». Я пообещал. Он сжал скулы и начал заговорщическим голосом: «Устав от охоты и зноя, мальчик прилег у ручья...» Что-то в таком роде. Это было гениальное несоответствие внешности и текста. Овидий и холщовая роба! «Приблатненный» гекзаметр, наполовину сочиненный им самим: в монолог попадали словечки вроде «поплавок» – на воровском жаргоне это «пристань». А свою подругу Эхо, которая помогала его дружбы, назвал «копилкой»... Когда мы с Катей возвращались из больницы, я все время думал о том, кто же на самом деле психи – эти незащищенные, ни в чем не виноватые люди или врачи со своими шумными вопросами, автографами, босоножками?

По возвращении в театр монолог «Поплавка», как мог, пересказал Луспекаеву. Он на меня обрушился: «Вот вы все с вашими халтурами...» Однако зачем-то спросил, где находится сумасшедший дом. Потом долго от меня скрывал, что с какой-то бригадой поехал на концерт и просил, «чтоб обязательно туда, где был Борисов». Попал, однако, он не в дом для умалишенных, а в следственный изолятор, да еще женский. Через месяц «раскололся» и рассказывал со слезами: «Понимаешь, выхожу на сцену, а в зале одни девки! Чего читать, не знаю, к тому же, не мне тебе рассказывать, я аматер до баб страшный... Моча в голову... После выступления – думая, что незаметно, – подхожу к одной... Лицо исцарапано, вся в йоде, но чем-то мне приглянулась. Спрашиваю ее: за что сидишь? Она как воды в рот. «Тебе что, жизнь свою рассказать неохота? Давай потолкуем по душам, легче будет...» – а рукой к щеке ее уже тянусь. Ну, идиот, ничего не скажешь... Тут ее подруга подходит и на весь изолятор в контроктаве: «Проваливай, артистик... Свадьба у нас с ней была, не видишь? Медовый месяц!» И гомерический хохот всех заключенных, милиции. Пальцами в меня тычут. Я как кур в ошип попал. Оказывается, та, что подруга, – это «муж» на самом деле. Голубу свою оберегает... Верно, что я «левых» концертов избегал, не мое это дело...»

Что к этому добавить? Об Овидии я вдруг вспомнил, когда снимался у Рубинчика в «Гамлете Щигровского уезда». Что-то общее было между моим Василием Васильевичем и тем «Поплавком», что хотел превратиться в цветок.

Октябрь, 4–5

«До-дес-кадан»

Георгий Александрович Товстоногов после успешных гастролей в Москве с «Тихим Доном» решил посетить одну высокую столичную инстанцию. Чтоб попросить для меня звание. «Для кого звание? – удивленно переспросили в инстанции. – Как же так... Он недавно уже поимел «Российскую Федерацию», пяти лет не прошло...»

«Это моя единственная просьба», – настаивал Г.А. Так он мне сам рассказывал. И еще от себя прибавил: «Это очень высокое признание ваших заслуг, Олег! С чем и поздравляю!»

Наверное, самый теплый Гольфстрим за всю историю нашего знакомства – сейчас, после «Тихого Дона».

И вот – не прошло и года – я направляюсь в Смольный за «высоким признанием». И что интересно – октябрь!!! Ощущение удушья от стерильности и пустоты. Из огромных

дверей, которые открываются и закрываются бесшумно, шмыгают смольненские норушки. Они все работают за дверями. Они прикованы к своим рабочим местам. Где будут вручать звание, спросить не у кого. Зашли в туалет – пусто. В конце коридора кто-то зашелестел – это буфетчица снимала с сосисок целлофан. Вакуленко, директор театра, который должен меня сопровождать (по их этикету не жена сопровождает, а директор того учреждения, где ты работаешь), стукнул себя по лбу – он на час перепутал время. Странно. Вскоре в этом же коридоре появилась старенькая большевичка – знаки отличия на груди и партийный желтый лоб («жоп лобтый» – как гениально оговорился когда-то Женя Евстигнеев). Ощущение удущья не прошло, поэтому спрашиваю, нельзя ли где-нибудь напиться. (Спрашиваю и думаю: не пей здесь, братец, козленочком станешь!) Большевичка отвечает, что напиться можно в автомате с газированной водой и что она туда направляется. Еще она просит напомнить ей зайти в буфет и купить кило «малодоступных» сосисок. Скорей бы отсюда выбраться – уже свербит у меня... Большевичка тем временем подставляет под струю стакан и, пока наливается газировка, раскрывает свою сумочку. Сумочка совершенно пустая, успеваю заметить я. Потом содержимое стакана выливается в эту сумочку. На мой вопрос: «А зачем вы это делаете?» – получаю лаконичный ответ: «Дома выпью». Пить мне, естественно, расхотелось, и про сосиски я ей забыл напомнить. Тут Вакула опять ударил себя по лбу – директор Театра Ленсовета прошествовал мимо него с букетом белых хризантем. Вакуле тоже нужно было сопровождать меня не с пустыми руками! Мой директор поник, а я остался без хризантем. Между тем лестница уже заполнялась людьми – значит, скоро начнется. Шаркнув каблуком, мимо меня продефилировала женщина, одетая как-то «беспартийно». Строгий английский стиль с заколочкой. Между Вакуленко и мной произошел обмен мнениями:

– Пахомова! Пахомова!.. Это она... заведомо культуры. Даже Романов отмечает, с каким вкусом она одевается.

– (Я, отмахиваясь от него.) Знаю, Володя, знаю... Знакомы мы.

– С кем знаком? С Пахомовой?! Так ты ж вроде того... не партийный.

– Мы с Пахомовой в филармонии познакомились.

– Так ты и в филармонию ходишь? А-а...

Так получилось, что Аллина подруга работает в Доме моделей. Очень престижном, на Петроградской. Все ленинградские модницы туда слетаются. И вот пришла как-то раз в этот самый Дом помощница Пахомовой. Разведала обстановку и привела туда саму заведомо культуры. Так мы и узнали, что Пахомова – модная, самая модная среди партийных дам, что ей это Григорий Васильевич позволяет. А тут еще в филармонии, в Большом зале, случайно встретились. Сидели рядом в ложе. Только улыбнулись друг другу, а так ни о чем не переговаривались. В антракте, когда Пахомова вышла, Андрей Андреевич Золотов, как всегда приехавший из Москвы, с восторгом подметил: «Никогда не думал, что в Ленинграде такая эффектная женщина культурой ведает. Главное – молодая, не замужем! И посмотрите, Олег Иванович, как смело с ее стороны – без лифа в концерт пришла!»

Вскоре появился Романов в сопровождении свиты. Все в одинаковых, мышиного цвета «футлярчиках», а он один – в синем. Роста небольшого, в голосе слышится «наполеончик». Все окружение, и прежде всего он – вручающий, – делают вид, что им некогда, что тратят время на какую-то мелюзгу. Ладно, снизошли. Все посматривают на часы. Вакуленко за колонной притаился. Пока Романов вступительное слово говорит, пытаюсь вспомнить чеховский афоризм; кажется, звучит он так: если хочешь, чтобы у тебя не было времени – ничего не делай! Это про них. Моя фамилия на «Б» – значит, я в начале списка. Григорий Васильевич протянул мне свою партийную руку: «Вот тебе, Олег, звание. Бери, а то передумаем (радуется своей проверенной шуточке). Знаю, ты – хороший артист, но ведь можешь еще лучше, еще красивше. Играешь всякую белогвардейскую сволочь, черти тебя... (Видит, что на моем лице улыбка застыла, реакции никакой, начинает что-то шептать помощникам,

до меня доносится: «Это тот, артист?» Получает утвердительный ответ.) Ну вот, я же знаю, что не могу спутать... Думаю, это у нас не последняя остановка по пути к великой цели... (Он что, «под мухой»?) Вот сыграл бы ты донора, мать твою... чтоб кровью всех бескорыстно... Красного донора!» «Если группа крови совпадет», – еле выдавливаю из себя.

Потом шампанское, еще несколько напутствий, но уже всей массе: «Давайте, родные, чтоб область нашу Ленинградскую не посрамили. Картошки в этом году нет, так чтоб наукой и культурой досыта!..» Про себя думаю: звание – вещь полезная. Во-первых, зарплата 400 рр, выше уже не прыгнешь. Дача отдельная в Комарове – чтоб в одной комнатенке не ютиться. Может, и «Волгу» под это дело... раз уж не последняя остановка. А главное, больше независимости...

Насчет независимости – не обольщаться! Кто ею может похвастаться? Только Рокутян – это он вел несуществующий трамвай в курасавовском фильме «Под стук трамвайных колес». (Я видел его некоторое время назад – потрясающий фильм!) Помню, как Рокутян – этот японский головастик, маленький Будда – присаживается на колени, морщит лоб, когда проверяет ось колеса, муфту. Как что-то подкручивает плоскогубцами. Поднимается по ступенькам в призрачный вагон, занимает место у руля. Вставляет табличку со своим именем в держатель, но ни таблички, ни держателя на самом деле нет. Берется за ручку тормоза, проверяя, все ли в порядке, потом дает указание самому себе: «Поехали!» Медленно трогается с места, набирает скорость и голосом подражает стуку трамвайных колес: «До-дес-кадан!..» Этот широколобый Рокутян независим, сомнений нет. Ему не нужно ни бензина, ни светофоров... ни званий. До-дес-кадан, до-дес-кадан!..

Декабрь, 23

Я в Институте переливания крови. Наверное, залег надолго. В последнее время испытывал слабость, шатало и хотелось спать. Бабуся говорила в детстве: «Шатай-Болтай, недалеко Валдай».

Нет, тут не Валдай. Из окна моего изолятора вид – унылей не придумаешь: облезлая стена и ржавые трубы. За этой стеной – Суворовский. Ведет прямо к Смольному.

Моя палата № 12. Напротив – шестая, общая.

Посадили завтракать с тремя женщинами. Как они говорят, «будем столоваться вместе». Они ходят со своими кружками и своим чесноком. Я говорю им: «Здрасьте. Я из двенадцатой». Они: «Очень приятно. А мы из пятой». Пытаюсь шутить: «Хорошо, что не из шестой». Они юмор не поняли, отвечают настороженно: «Вы что, хотите в шестую перелечь? Так там тоже женщины...»

После обеда зашел главврач, оттянул мои веки, ужаснулся и спросил: «Сколько?» Я ответил: «Сорок девять. И лет, и гемоглобина». – «Будем повышать. Придется полежать месяц, а то и полтора». Меня это не обрадовало: Новый год, значит, здесь.

Завтра начнутся анализы: кровь из вены, остаточный азот. Будут готовить к переливанию.

Зачем-то взял с собой «Карамазовых». Стал задумываться, чем болеют герои Ф.М. Смердяков – эпилепсией, впрочем, как и сам автор. У Лизы Хохлаковой – паралич, порожденный истерией. Впечатлительная девочка, по ночам видит чертиков.

А я сегодня видел некоего Маликова. Завтра в меня вгонят его кровь.

Декабрь, 28

Вогнали кровь двух женщин.

Итак, во мне уже Маликов, Ядранская и Каталашвили.

Полная дружба народов!

Приятно, что медсестра Алиса, увидев меня утром, тут же констатировала: «Да вы молодцом, Олег Иванович! Как порозовели!»

1979 год

Январь, 1

Бавкида и Филемон

Встречал Новый год в одиночестве. Тоскливо. Накануне приходили Алла с Юрой – красные, замерзшие. Принесли елочку. И завтра придут, и все дни.

Когда-то в Киеве, сам того не ведая, приобрел золото. Наверное, и ездил в Киев на долгие тринадцать лет за тем, чтобы найти этот клад. Пути Господни неисповедимы! Говорю своей жене: «Если когда-нибудь мне доведется сыграть «Старосветских помещиков», роль Афанасия Ивановича посвящу тебе». Она смеется, моя Пульхерия Ивановна: «А я только жизнь свою могу посвятить, что еще?»

Во многом мы не похожи на гоголевских Филемона и Бавкиду. К примеру, не говорим друг другу «вы». Эти помещики детишек не имели, а у нас – сын замечательный. Частенько пар выпускаю безо всякой надобности – не в пример Афанасию Ивановичу. Если на замечание его супруги: «Это вы продавили стул?» – он отвечал покорно: «Ничего, не сердитесь, Пульхерия Ивановна: это я», то у меня могут сдать нервы, я нагрублю, а потом весь вечер не буду находить себе места и думать, как бы все исправить. Такой уж характер – вспыльчивый, мерзкий. Но к старости – к возрасту Афанасия Ивановича, – может, и угомонюсь.

Сегодня Алла разрывается между больницей и своей работой. Приходит уставшая, рассказывает, что нового у них на «Ленфильме». Они с Мельниковым организовали объединение, которое выпускает хорошие фильмы, и иногда зовут меня в них сниматься. Это Алле и ставят в вину: использование служебного кресла. Хорошо я ее редко подвожу – после появления «Гарина», «Принца и нищего» анонимщики стихли. На время.

Ее нервам можно позавидовать. Я бы никогда не мог стать начальником. У меня разговор короткий – чуть что, сразу в рыло!

А начальник – это работодатель! Страшное слово, если вдуматься. Безработные режиссеры облепляют ее, как черные мухи белый сахар. Надо уметь «пробить» и уметь отказать. Не смогла «пробить» Герману заявку на Чехова, зато получились вполне «левые» «Фантазии Фарятьева» у Авербаха. Снимала в объединении Динара Асанова. Воробьев поставил «Свадьбу Кречинского», но сцену в церкви московские начальники резали прямо перед эфиром. По живому.

Все-таки Алле удастся с ними ладить. Они любят приезжать из Москвы в командировки. Вот и сейчас, пока я здесь, кто-то приехал... Наверное, сидят у нас дома.

Я уже не дожусь, когда отсюда выпишусь. Залезу дома в стенной шкаф и первое, что достану оттуда, – соленья! (Делаются по рецепту оператора Яши Склянского – он снимал «Операцию «С Новым годом!» Потом «свалил».) Пульхерия Ивановна тоже солила, сушила, мариновала, но у нее потом половина пропадала или растаскивалась дворовыми девками. У нас не пропадает никогда!

Арбузные корки и цветная капуста особенно за ушами трещат!

Январь, 6

«Сухой лист»

Ко мне в больницу приходил Лобановский – Котеночек, как его называет супруга. У него есть и другое прозвище – Шампусик. По количеству выпитого шампанского у камина, я думаю, Шампусику равных нет. Ни одна печень в мире не смогла бы этого выдержать.

Удивительно, что за те годы, пока я веду дневник, я еще ничего не написал о своем лучшем друге. Наверное, оттого, что футбол – не в основном фарватере, о футболе – всегда успеется. Но ведь и сам Василич (я буду его называть так) никогда не попадал в основной фарватер, всегда был сам по себе. Я увидел его в первый раз на «Динамо». Зашел к Базилевичу в раздевалку, все футболисты, их подружки, бездельники-журналисты «точили лясы». Не было только Лобановского. Он сидел в автобусе на заднем сиденье. С книжкой. Нас познакомили, но от книжки он оторвался ненадолго. После этого я увидел его уже в Донецке: они с Базилевичем там заканчивали играть. На матч с «Шахтером» приехало киевское «Динамо», откуда их год назад отчислил Маслов.

У Базилевича была кличка Штангист – он умудрялся попадать в штангу из положений, когда любой другой бы забивал; зато забивал – и часто! – из положений самых немыслимых. У Лобановского – в те годы, когда он играл, – прозвище Балерина. Он подолгу «водился» с мячом, плел паутину. Его финты, «сухие листы», угловые пытались повторить во всех киевских дворах. Оба играли в аритмичный футбол, оба были футбольные гении, индивидуалисты от Бога. Об аритмии я только начинал задумываться. Что-то интуитивно чувствовал, но объяснить научно, с демонстрацией синусоид и кривых мне смог Лобановский. К тому времени у него, как на рентгене, начинало просвечиваться серое вещество, вскипающее в коре головного мозга. В Донецке в 1967 году этот мозг, уже отяжелевший и мешавший ему играть в футбол, заработал в новом для него направлении. На игру против Маслова вышло четыре форварда: Лобановский, Базилевич и еще двое из «Шахтера», которых я не помню. Четыре форварда против чемпиона, лучшей команды страны, победившей «Селтик», – неслыханная дерзость! Но Василич, который и убедил тренера сыграть этот вариант, все просчитал: «Основное оружие Киева – полузащита. Так? (Это междометие он любит употреблять до сих пор.) Полузащита – Сабо, Мунтян, Медведь. Но кто такой отдельно взятый Медведь? Спрашивается, кто? (Выдерживается пауза.) Линейный игрок! Организаторские функции выполняют только Биба и Сабо. Их и нужно закрыть. Так? А Медведь пусть бегает свободным...» Журналист Галинский подробно описывает эту установку в своей книге «Не сотвори себе кумира». Ее мне Василич в свое время презентовал, при этом добавив: «У этой книги правильное название. Программное». Так я впервые услышал от него это слово... Начиная с 73-го года он каждую зиму приезжает в Ленинград на каникулы. Приезжает «совершенствоваться». И даже в каникулы выполняет программу, которую составляет для себя сам. Утром бегает вокруг гостиницы «Ленинград» (в ней он любит останавливаться), днем его Юра образовывает по части музеев, потом у них партия в шахматы, вечером – обязательное посещение БДТ. (Цель – пересмотреть весь репертуар – давно перевыполнена. В тот день, когда в БДТ выходной, идет в МАЛЕГОТ слушать «Евгения Онегина», но выдерживает недолго: не находит идеи.) После спектакля – неизменный ужин в «Садко». Выполняет программу тогда, когда подается его любимое блюдо: «осетрина по-монастырски». У нас текут слюнки, льется водочка, но его мозг работает. Чуть расслабляется он только к двум часам ночи, когда на сцену выходят цыгане. В свой первый приезд просит посодействовать команде «Динамо» попасть на спектакль «Три мешка сорной пшеницы». Достает календарь игр на следующий сезон и бронирует двадцать пять мест за полгода вперед. Мне это приятно, но все-таки сомневаюсь: нужно ли это всей команде? Спектакль тяжелый, длинный, у них заболят ноги и... они проиграют «Зениту». «Все будет по программе, – последовал ответ, который можно было предвидеть. – Мы в этот день дадим на ноги нагрузку поменьше». Через полгода точно в назначенный день команда в строгих костюмах и галстуках, когда зрители уже расселись на местах, появляется в партере. (С костюмами абсолютное помешательство! У него есть один, «счастливый», который в день игры ему привозят из химчистки. Он его надевает в шесть часов – и направляется на игру. Если игра проигрывается, все равно в следующий раз – тот же костюм, из той же химчистки.) В зале аплодисменты. Еще бы – чемпион страны

и обладатель Кубка кубков в полном составе! Антракт затягивают на полчаса: у команды режим, она ужинает за кулисами. Случайно слышу реплику одного из игроков: «Ну и кому это нужно? Тренера (ударение, конечно, на «а») хотят свою образованность показать!» Пере-сказываю это Лобановскому. Он смеется: «А что ты хотел? Все понять с первого раза им трудно. Надо будет еще раз сводить, в следующем году. (В слове «понять» упорно делает ударение на «о»). Сколько я ни намекал...» Зато Веремеев, – продолжал он, – после спектакля попросил разрешения не автобусом до гостиницы добираться, а пешком. Спектакль его так потряс, что он не захотел ни с кем разговаривать. Всю ночь не спал, и в игре с «Зенитом» после первого тайма я его заменил».

Теперь в больницу Василич принес график бега. Разработал специально для меня – легкая трусца! Все высчитал по секундам с учетом даты и времени моего рождения, биоритмов. Вот выйду отсюда, куплю секундомер и побегу.

Нужно жить по программе – пора бы это на старости лет понять!

Январь, 11

Приходила молодой врач, у нее были поразительные синие глаза. Я глядел в них, и мне чудилось, что я купаюсь в море. Приходила с просветительской миссией – рассказать о моих лимфатических сосудах, о причине заболевания. «Лимфа – это тончайший, нежнейший из всех элементов, отборнейший сок. Ее иногда называют молоком крови». Она начала описывать со всей тщательностью грудной молочный проток. Мне слушать это не хотелось, я оборвал ее: «Лучше скажите, сколько мне еще лежать?» «А куда вы торопитесь, Олег Иванович? – ответила «доктрина». – У вас есть редкая возможность полежать, поразмышлять о жизни. (Тон ее был успокоительный, ласкающий.) Если хотите, расскажу о новых открытиях в американской науке... Я тут одну книгу перевела...» Ей явно хотелось произвести впечатление, и она начала: «Американцы любят себя и призывают всех праздновать сам факт существования своей личности. Это их основной закон. Они часто просят пациента взять зеркало, взглянуться в свое отражение и произнести вслух: Я люблю тебя! Я без ума от твоих волос, бровей... (и так до ягодиц. – О.Б.) Ваша болезнь будет побеждена, как только вы сможете заставить себя взять зеркало». Я сделал как можно более серьезное лицо. «Вы, наверное, не читали гоголевского «Владимира третьей степени»? – спросил я у «доктрины». – Вообще, вы Гоголя любите?» «Да-да», – растерянно закивала она. «Так вот, в этой вещице есть персонаж, который произносит такие слова: «У нашего заседателя вся нижняя часть лица баранья... Когда покойница-мать рожала, подойди к окну баран и подстрекни его нечистая заблестеть». Дорогая моя, на всех русских лицах есть несмываемый отпечаток того барана! Я, например, при всем желании влюбиться в свое отражение не смогу!» «А вы попробуйте! – начала настаивать она. – Скажите себе, что вы прекрасны, и повторяйте эти слова изо дня в день». В ответ на это я поведал ей историю, как возвращался однажды из театра домой довольный тем, что одна московская критикесса нашла моего Суслова самым сексуальным из персонажей «Дачников». Возвращался с мыслью побыстрее рассказать об этом жене. Значит, еще гожусь. И по столичным меркам... За мной по Звенигородской уцепились две молодые поклонницы, неведомые мне. Они переговаривались между собой, чуть-чуть пересмеивались. Я попытался оторваться, но и они предприняли ускорение. Вскоре мы поравнялись. Одна из них бросила призывный взгляд в мою сторону, но тут же отшатнулась от меня как черт от ладана и побежала со своей подружкой прочь. До меня донеслась только одна ее реплика: «Фуй, какой страшненький!»

«Доктрина» из вежливости посмеялась вместе со мной, но, несмотря ни на что, продолжила лекцию: «Не хотите этот способ, есть другой. Необходимо забыть про все обиды и оскорбления, нанесенные вам вашими врагами. А они забудут обиды, нанесенные вами. Забудут и простят. Каждый сам по себе лечит свои пороки и недуги. Возьмите карандаш и

напишите тысячу раз: «Я прощаю тебя за то, что ты наступил мне на мозоль...» Я недоверчиво покачал головой: «Где гарантии, что я прощу моего врага, а он простит меня? Вы мне дадите такие гарантии?... Задача актера надавить на все гнойники, чтобы вытащить порок наружу. Так мы и зарабатываем наши болячки – пропускаем через свою кровь, а память собирает и фиксирует их: не понос, так золотуху».

Она немного побледнела, но не растерялась: «Если вы не против, я завтра поговорю с вами о страхе как следствии отсутствия доверия». «С точки зрения американских ученых? – уточнил я. – Лучше не надо. Если вас не затруднит, продолжите рассказ о моей лимфе. Это намного для меня полезнее». Она не стала возражать, и вскоре ее бездонные синие глаза засветились морем, как прежде: «Поговорим о так называемых лимфатических железах, расположенных на шее, под мышками, возле локтевых суставов, в коленной чашке и в других нежных частях тела...» Вскоре я заснул под ее убаюкивание.

Февраль, 4

Перечел свой отрывочек об Алле, моей Бавкиде, любимом Скорпионе. И подумал: если эти этюды, записи соберутся во что-нибудь стройное, то Алле я их и посвящу. Конечно, ей, кому же еще? Роль Афанасия Ивановича – само собой.

Нашел умное изречение у Гёте, которое он проронил после встречи с Наполеоном: «Когда я начал писать, поставил себе за правило никогда не делать посвящений. Чтоб потом не раскаиваться». Мудро, только не в моем случае. Мне раскаиваться не придется!

Вчера было двадцать пять лет нашей свадьбы. Уже срок. Серебряный. Аллина подруга Людя Обручева смастерила нам две короны из пластмассы, украсила камешками. Сшила ей платье с серебристым отливом. Мне бы доспехи и меч, и я бы был как Лоэнгрин. Время летит... «Мы на земле недолго, мы делаем много дел дурных и говорим слов дурных. А потому будем же все ловить удобную минуту совместного общения нашего, чтобы сказать друг другу и хорошее слово».

Апрель, 11

«Не торопись языком твоим»

Когда тебе лижет руку Ванька, ты понимаешь, что он хочет сказать. Не понимаешь только слов.

В кино, в котором есть крупный план, можно не произносить длинный монолог. У хорошего актера все должно быть понятно из его молчания. Поэтому лучше не пускать авторов, если они живы, на съемочную площадку, чем-то их отвлекать.

Когда лежишь на траве и смотришь в небо, думаешь, как хороша природа. Молчащая. Нет ничего более завораживающего, ничего более интригующего. Ни о чем не хочется говорить. Говорящий человек – марионетка, нарушающая одну из проповедей Екклесиаста. Был такой в Иерусалиме царь. «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово перед Богом... Слова твои да будут немноги». Как безысходен Екклесиаст! Я читал его в обгоревшем Ветхом Завете, большом талмуде, который оставила нам М.А.¹ Все у него суeta суeta и все идет в одно место... Как тяжело это читать, придя из театра, где ты без усталости молот языком. Таковую сам выбрал профессию – не перед Богом слово держать, а перед зрителем, который покупает право смотреть тебя за рубль. Как дешевую коcotку. А авторы, когда все уже понятно из самого сюжета, должны еще раз пережевывать и пересказывать пережеванное словами. Иногда по несколько раз. Чтобы советский зритель правильно понял. Чтобы в башку ему втемашить. Какие могут быть недоговорки? Но и ничего лишнего. За одно лишнее слово – расстрел... У моего отца стоял чемоданчик, но я тогда еще сидел за партой. Учительница пения твердила: «Борисов, выйди к доске и проведи собрание. В каждом из вас должна быть такая ленинская искорка! Какой же ты косноязычный, Борисов!

Надо быть активным, политически грамотным. Вот стой рядом и учись вести собрание!» Была готова в глотку залезть всей пятерней, чтобы мой язык вытащить. А он уходил в этот момент в то самое место, на которое намекал Екклесиаст. Ни оратора, ни певца из меня не вышло.

Нас приучили к обману благодаря словам. Врал еще Тмол, который судил состязание Аполлона и Марсия. Эту историю мне Копелян рассказал, который соперничал Марсию. Судья был куплен и использовал все свое красноречие, ораторский дар, чтобы объяснить народу: Аполлон на дудке играет лучше. И он объяснил. Второго судью, который был не согласен, тут же превратили в осла. Можно сделать вывод: «Массе свойственны глупость и легкомыслие, из-за которых она позволяет вести себя куда угодно, замороженная сладостными звуками красивых слов». Это объяснение я нашел у хитрого Монтеня. Русской массы это в особенности касается. Получается, мы, актеры, – проводники того идиотизма, которым забивают головы и без того забитому зрителю. Лопай что дают! – и он будет лопать.

Вот с такими мыслями я направляюсь в театр, на репетицию новой советской пьесы. И все идет в одно место...

Апрель, 17

Дом № 13

Нужно думать о переезде – кинотехникум, который обосновался на первом этаже, хочет завладеть всем подъездом. Начали расселять коммуналки. Нас они не тронут, но жить в осадном положении неприятно. К тому же за стеной – их столовка, а внизу у почтовых ящиков – их курилка. Вчера ящики подожгли. Консервные банки забиты «бычками».

Алла познакомилась со вдовой пианиста Серебрякова. Она готова освободить большую четырехкомнатную квартиру, но ей нужна в этом же доме на Бородинской маленькая двухкомнатная.

Бородинская – это близко от нашей Кабинетной. Идем с Аллой в дом № 13. Квартира в удручающем виде. На полу – следы от сковородок, внешняя электропроводка, перекошенные, поющие двери. Та, что ведет в спальню, издает от нажатия ручки повизгивающий звук. Та, что в кабинет Серебрякова, – первые три ноты «Аппассионаты». Фантазия у Аллы уже заработала. Еще бы – в столовой есть эркер, в кухне – еще одна маленькая столовая, комната для прислуги! Как говорил литейщик Иван Козырев: «Во – ширина! Высота – во!» Хорошо раньше строили!

Надо писать Романову. Просить, унижаться. А пока С. Аранович предлагает сыграть американца с очень мудреным именем – Рафферти. Читаю роман², думаю, как сделать американскую улыбку. Нет, в мои пятьдесят у меня отличная челюсть, грех жаловаться, без единой дырочки. Но у американцев зубы как будто из алебаstra. Под стать зубам и все остальное. Лицо ничего не должно выражать. Воск. На все отвечать: «Очень сожалею!»

Надо подумать, нет ли поблизости примера какого-нибудь «русского американца». Достоевский описал Лужина. Вот портрет Ганечки Иволгина: «...улыбка при всей ее любезности была что-то уж слишком тонка; зубы выставлялись при этом что-то уж слишком жемчужно-ровно...» А что говорит ему Рогожин: «Да покажи я тебе три целковых, вынь теперь из кармана, так ты на Васильевский за ними доползешь на карачках... Душа твоя такова!»

Тут есть перегиб. Конечно, на карачках не поползет. Ведь и в камин не бросился. Однако в Ганечке – сам того не ведая – я когда-то сыграл зародыш этого Рафферти.

Август, 28

Совершенные числа

О Владимире Александровиче Нелли многие говорили, что он любит записывать номера машин своих знакомых. Придавал значение числам. Знал теорию совершенных

чисел – сумма их дробных частей должна быть равна самому числу. У меня с математикой туго, поэтому на всякий случай запомнил сами числа, а не то, как они получаются. «Совершенные числа очень редки, – говорил мне Нелли. – Как и хорошие артисты. Между 1 и 10 есть только одно – 6. Между 10 и 100 – 28. Между 100 и 1000 – 496». (Помню неточно.) Он часто сидел у нас дома на Пушкинской и как-то рассказал Латынскому, моему тестю, что у него замечательный номер на его «Победе» – 49–69! В него входит совершенное число!

Он знал много интересного. Когда рассказывал, часто засыпал. Прямо за столом. Или за рулем. Оттого, что учился на том же медицинском факультете, что и Булгаков, его любимый анекдот был медицинский. Я потом обнаружил его у Чехова:

– Скажите, отчего умер ваш дядя?

– Он вместо 15 капель Боткина, как прописал доктор, принимал 16.

И очень долго смеялся.

Киев звал его Нелли Владом. Это был большой, лысый холостяк, отдаленно напоминавший Шкловского (только внешне). Он видел спектакли Марджанова и Соловецкого театра-антрепризы Дуван-Торцова. А там блистали Тарханов, Неделин и Степан Кузнецов. О последнем было особенно много говорено. Играя свои ослепительные регулярные бенефисы, он изобрел интересный способ общения с партнершами. Имелись в виду наиболее душевные, амурные сцены.

Короткое отступление. Театр был тогда в значительной степени актерский. О режиссуре еще никто в Киеве не помышлял. О Художественном театре слышали, но что в нем конкретно художественного, не знали. Новых декораций не строили. Антрепренеры, как могли, выдавливали слезу из зрителей и из актеров. А те и рады – плакали, гримасничали во всю величину своего дарования.

«В одном киевском театре, – рассказывал Нелли Влад, – ставили оперетку. И вот какой-то простак (фамилию запамятовал) на сцене сильно переусердствовал в изображении кашля. Он делал это так натурально, так нутужно, что остановиться вовремя не смог, потерял голос, и вскоре дали занавес». Именно против такого натурализма и восстал Кузнецов. «Мои партнерши своими истериками меня измотали. От безысходности у меня родилась идея – в дуэтных сценах играть «треугольник»! – объяснял Кузнецов Нелли. – «Треугольник» состоял из партнерши, меня самого и... моего воображаемого двойника. Даже Гёте видел себя со стороны – это факт известный. Обладал таким даром... И вот, когда артистка начинала голосить (или кашлять, изображая чахоточную), я подключал свое воображение и играл сцену с самим собой. Потом я так наловчился, что уже не мог без этого обходиться!»

Ради интереса (ведь это хорошее упражнение на воображение!) попытался нарисовать своего двойника. Долго ничего не получалось. Выдавливал по капле. Как же так легко получалось у Гёте?... Наконец увиделась лысина, кривые ноги, немного отекаящая шея (это от приема гормональных препаратов). Я засмеялся: мое воображение не способно преобразить меня в американского героя. Не американского – пусть прибалтийского. «Мне нужен антигерой, поэтому я выбираю Борисова! – говорил Аранович на худсовете, когда утверждали артистов на «Рафферти». – Именно антигерой!»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.